Михаил Попов

ВСТАВАЙТЕ, ЭРЦГЕРЦОГ!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Странная столешинская ночь.

Так думал, например, Афанасий Иванович, стоя у открытого в нее окна. Яблони, подкравшиеся к нему на расстояние вытянутой руки, казались теплокровными существами. Не умея собственными силами дотянуться до мученика в роскошном халате и убаюкать его, они выпускали в его сторону беспорядочных страстных ночниц. Те, приятно попорхав перед его лицом, уносились внутрь комнаты к классическому предмету своих вожделений – свече.

Афанасий Иванович с удовольствием улегся бы спать, но страх комкал его постель. Он знал, что убивец является не во сне, но боялся заснуть. Глупо? Безусловно! Афанасий Иванович знал это, многократно доказывал это себе на пальцах логики, но верить себе по-настоящему не начинал. История с последними каминными часами разрешилась удачно, вредоносной хронометрической гидре отсечена была последняя голова. Собственноручно, хотя и топорно. Но все равно в душе один лозунг: нет сну!

Не спал и господин генерал. Он лежал в темноте с мирно посапывающей Галиной Григорьевной и думал о ней. Думал нехорошо. Думал и о себе, и тоже непохвально. И очень литературно. Зачем он, седой бывалый человек, прельстившись свежестью и непосредственностью... Старик, женившийся на молоденькой, всегда глуп. Да и то сказать, свежесть оказалась отчасти искусственной, а непосредственность прикрывала явную посредственность ума и чувств.

Но, окорачивал он себя, во-первых, он далеко не старик, а во-вторых, Галина Григорьевна должна быть обязана ему за то, что он вытащил ее из этого таганрогского вертепа, называемого театром. Без таланта, без покровителя, без капли мозгов в голове – на что она была обречена?! Говорила, что обручена, – ложь! И, главное, никаких следов благодарности – ни в словах, ни в поведении.

Но вместе с тем и сынок хорош! Зачем надевать этот омерзительный костюм? С какой целью он так полосат?! Зачем купаться в пруду?! Невозможно запретить, но и невозможно объяснить, – зачем бросать этот вызов?

Ночь, глухая ночь была и в сердце генерала, и в сердце среднерусской возвышенности (сердцерусской?).

Продолжение. Начало в № 3, 2015.

Профессор не спал потому, что работал. Зоя Вячеславовна раскритиковала несколько мест из его последних сочинений, и теперь, склонившись над текстом, он постепенно, без обычной, правда, благодарности осознавал, что критика эта резонна. Как она все-таки умна, Зоинька. Но, однако, эти эксцессы! Необъяснимые обмороки, они пугают. Зоя Вячеславовна всегда казалась и самому Евгению Сергеевичу, и общим знакомым человеком с приятным набором милых странностей. Они лишь подчеркивали глубину и оригинальность ее характера. Не более. Оказалось, что более. Не есть ли это болезнь? – спрашивал себя Евгений Сергеевич, стыдясь при этом, что способен такое думать – хотя бы и в интимном мраке своей души.

Не спали и юные петербуржцы. Не спали по-разному. Гость лежал с открытыми глазами и улыбался. Он что-то понял. Ему открылась бездна, но не испугала его, а показала какую-то научную драгоценность. Пусть и на шестипалой ладони.

Разумеется, завтра же необходимо ехать в Петербург. Только там можно достать все нужные реактивы и оборудование для постановки опыта. Да что там реактивы... Саша повернул голову в сторону отбившегося от науки товарища. Но видимее от этого товарищ не стал. Значительно проще было рассмотреть детали будущего открытия. Что это с Аркадием происходит, подумал естествоиспытатель и сам удивился, что способен думать подобным образом и тратить понимательные способности на то, от понимания чего дело не продвинется.

Но он был благодарен ему за столешинские болота. Ах, болота, болота, торфяные толщи, хвощи, корневища, в этой толщи гниющие. Сбежав по ступенькам внезапной и ненужной аллитерации, он вновь оказался по щиколотку... И тут Аркадий неожиданно сел на кровати. Невидимо, но явно. Саша хотел его окликнуть, чувствовал, что окликнуть, пожалуй, даже стоит, но не сделал этого.

Скрипнула кроватная рама, и привиденьевого типа фигура встала во весь свой приблизительный рост. Царапнул лапой по полу стул. Ночная рубаха поглотила себя халатом. Все движения были медленными и бесшумными. Бесшумными потому, что медленными. И вдруг... Подразумевающийся халат сделал резкий выпад в сторону открытого июльского окна, оперся рукавом на подоконник и вылетел в ночь. Та приняла его полностью, не выдав ни единым звуком.

Выйдя из затаенного состояния, естествоиспытатель тоже опустил ноги на пол. Аркадий знал, что за ним наблюдают? Куда он побежал? И что теперь делать?

По крайней мере стоит подойти к окну. Саша подошел. Не без опаски положил ладони на прохладный подоконник. Медленно наклонился вперед, живо вращая при этом глазами. Если Аркадий затаился под окном или поблизости, хотелось увидеть его первым. Неизвестно зачем, но хотелось. Но все эти странные предосторожности не имели никакого смысла, потому что Аркадий был далеко от окна. Он бродил по саду, беспорядочно разводя слепыми руками ветки, топча травы, задевая то правым, то левым плечом яблоневые стволы. Не в поисках чего-то, без какого-либо маршрута. Иногда он останавливался и задирал лицо к небу. Лицо блестело от слез, а сквозь крепко сцепленные челюсти прорывалось то ли рыдание, то ли рычание. Он явно о чем-то вопрошал эти сочетания блестящих точек наверху, и виделось ему нечто вроде осмысленного и обнадеживающего ответа там. Если бы только не эта псевдопрозрачная, как сильное опьянение, туча, наползающая справа! Вот уже скрыты ею самые достоверные созвездия, и это заставляет все сильнее сотрясаться от бесшумных страданий исцарапанную яблоневыми когтями грудь.

Все! Небесная картина искажена и загажена. Там тоже уже нет правды. Шатаясь от горя, Аркадий двинулся дальше. Огибая особенно разросшееся растение, забрел на неуместную в такой темноте клумбу, растоптал ее, выбрел на очередную лужайку, и тут вдруг земля зашаталась под ним, зашаталась и разверзлась. Он с глухим утробным криком рухнул вниз. Не сразу сообразил, что наткнулся на заброшенный гамак. Некоторое время он позволял делать с собою все что угодно. Перевернулся, скуля, на спину и попытался вновь обратить взор к небу. Но ничего не получилось. Теперь мешала не только туча; изволила выйти еще и луна. Что она способна сделать с ночным садом, известно. Аркадий заметался, чтобы не слишком бросаться ей в глаза, почувствовал благодарность к гамаку, который перестал раскачиваться. Ему был виден бедно освещенный угол дома в проеме между двумя кронами. В стене имелся прямоугольный провал. Окно. Ах вот оно что, прошепталось внутри. Не могло быть никаких сомнений, что окно это уготовано именно для него. Умеющий выпрыгнуть из окна в ночь по справедливости должен обладать правом забраться в него.

Освободившись из провисшей сети, Аркадий двинулся на черный прямоугольный зов. Он не думал о том, к чему приведет этот подсказанный высшими силами лаз, хотя и знал, к кому.

Не раздумывая и не сомневаясь, лишь слегка дрожа от нетерпения, он схватился за подоконник, подтянулся и одним движением внырнул внутрь, собрался с собою на шершавом узком половике и на четвереньках двинулся к бесшумной девичьей кровати.

Марья Андреевна выбежала из спальни и несколько раз дернула за веревку, посылая в спальню горничной испуганный звонок.

Калистрат локтем толкнул жену в бок:

– Не слышишь, барыня кличет.

Груша вскочила, помотала спросонья головой и начала натягивать через голову юбку.

– Ишь ты, как будто и впрямь спала, – ехидно сказал муж. Привыкшая к его неизменному (низменному?) ехидству, Груша отвечать не стала.

– Кто здесь?

Настя оторвалась от подушки и одним паническим движением влипла спиной в настенный коврик.

– Это я, не бойся, я!

– Аркадий?! Зачем ты здесь?!

– Я тебе все объясню.

– В халате?

– Ты пойми и не кричи.

Он схватил ее за руки, как будто именно их нужно было успокоить прежде всего. Настя руки, наоборот, вырывала, полный контроль над ними был ей важен в этот момент.

Аркадий говорил. Сбивчиво, жарко, с шепотом и рыданиями. Невозможно описать, какую он нес чепуху. В основном про Мазурские болота. «Везде, черт их раздери, эти болота!» Часто упоминал о девятнадцатом августа. «Не когда-нибудь, Настя, не когда-нибудь, пойми, а именно девятнадцатого августа!» Он

настаивал, что от его «взвода» не останется никого. При этом продолжал ловить ловкие Настины кисти и проявлял намерение взгромоздиться на узкое ложе невинности.

– Какие болота?! Какой взвод?! Что тебе от меня надо?! Ты пьян!

– Мазурские, Мазурские, возле местечка Пшехонцы. Все местечко одним залпом, два дня по болотам. Титоренке оторвало ногу. Обе ступни. Не девятнадцатого, а семнадцатого. Я один, совсем один, Настя, представляешь, два дня. Все тряслось под ногами, ходуном все ходило. У них там такое слово есть – дрыгва. А потом дыра – и сразу по пояс...

– Я не хочу слушать ни про какие болота! Уходи отсюда, уходи!

– Да ты пойми, пойми, как это скоро!

Он взлазил и съезжал, сталкиваемый худыми, но безжалостными ногами.

– Скоро, очень скоро, почти завтра. А тебе все равно!

– Мне не все равно, мне противно. Убирайся! Я сейчас начну кричать. Это же невообразимо.

– Да, да, невообразимо, это нельзя понять. Ты права. Трясина, девятнадцатое совсем рядом, и я ведь ничего особенного не прошу, Настя.

– А что ты просишь? – холодеющим тоном спросила она, всползая спиной по морщащемуся коврику.

– Ты же запираешься в сарае с дядь Фаней, со стариком. А я не старик. Я понимаю, его тоже зарежут, и его жалко, но меня тоже жалко...

– Ты! ты!.. ты знаешь кто?!

– Кто бы ни был, но не старик, я даже умру молодым, Настя.

Он почти полностью вскарабкался на обороняемое ложе, но на одно короткое мгновение оказался в позе неустойчивого равновесия на краю его. Удара жилистой, пусть даже и женской, ноги было достаточно, чтобы болезненно обрушить его на пол.

Настя была готова к новому натиску (настиску?), но, оказавшись на полу, Аркадий обмяк. Он был даже не в силах подняться больше чем на четвереньки. Всхлипывая и бессмысленно жалуясь, он пополз к двери.

– Животное! – такой был поставлен ему диагноз.

Он уползал, глухо колотя коленками в половик, рыдая, в растерзанном халате.

Проводив невидимым взглядом своего дальнего и свихнувшегося родственника, Настя отлипла от стены, шагнула босою ногой на половик и, пошатываясь, двинулась к окошку, одну безумную минуту назад впустившему Аркадия. Подойдя вплотную, она запрокинула голову – и вдруг с утробным звуком перевалилась через подоконник. Ее вырвало, мучительно и длинно. Так рвет или от отвращения, или от ужаса.

Взявший на себя обязанности следователя Саша был неподалеку, за деревом, он был весьма озадачен таким проявлением женского естества. Неприятные недоумения роились в голове естествоиспытателя.

Аркадий медленно и, можно сказать, тщательно продвигался по коридорам родного дома. Время от времени ему приходилось становиться на колени – действие возобновлявшейся страшной мысли. Мучительно сглотнув несколько раз слюну, прояснив этими усилиями внутреннее зрение, он вставал и шагал дальше. Желание исповедаться крепло в нем. Оставалось только понять до конца – в чем именно. Но он был уверен, что последняя ясность постигнет его там, в том месте,

которого он таки достигнет. Нужен был только убедительный сигнал, что вот оно, это место. А вокруг была только равномерная, нигде не сгущенная, ничем не чреватая ночь.

Но повезло. Из-за поворота послышались быстрые легкие шаги. Только она, высланная ему на помощь, могла так неординарно передвигаться. Аркадий стоял на очередных четвереньках, у него времени и сил хватило только на то, чтобы поднять голову и открыть объятия. В них и попала вызванная барыней Груша. Объятия трагически замкнулись.

Калистрат медленно, несуетливо поднялся. Надел портки, рубаху. Подпоясываться не стал, равно как и наматывать портянки. Натянул сапоги на босу ногу. Вытащил из-под топчана английские ножницы для подстригания кустов, взялся за деревянные рукояти и бесшумно развел их на уровне груди. Очень отдаленно эта сцена напомнила историю про Самсона и его льва. Чахоточно-сардонический смешок вырвался из впалой груди. К чему он относился, понять пока было трудно.

Груша была девушка сильная. Упершись ладонями в плечи Аркадия Васильевича, шепча тихо, но вполне возмущенно: «Ах, барин! барин! барин! нельзя!», она дала обратный ход, мощно перебирая ногами. Она работала так решительно, что увлекаемый ею Аркадий не успевал встать на ноги и ехал на коленях. Он обнимал бурно работающие бедра и что-то пел про все те же болота, уткнувшись в теплый фартук. Эти речи переплетались с рыданиями и деталями неминучей гибели, а также диковатыми размышлениями вслух о том, что за маменькиными горничными волочиться и подло, и принято. Одним словом, доказывалось, что ввиду скорых и неизбежных Мазурских болот он должен быть понят Грушею – доброю душою, ибо в ситуациях прочих, не предсмертных, не видела она от него грязных приставаний, а видела только все хорошее или безвредное.

До Груши наконец дошло, что она имеет дело не с обычным случаем барского кобеляжа, а с чем-то непонятным и, может быть, небезопасным. Инстинктивно она уволакивала дикого барчука к выходу на заднее крыльцо. Там не было жилых комнат, там можно было избежать свидетелей.

Калистрат допивал стакан водки, когда услыхал звон колокольчика над своим семейным топчаном. Он поперхнулся. Очередной глоток дрожащая глотка отказалась принять. Роль последних капель для его душевной чаши сыграли дребезги медного негодяя.

Почувствовав, как вспотели босые ноги в сапогах, Калистрат понял, что еще секунду назад не был окончательно решившимся человеком. Только этот повторный звонок (хотя на самом деле никакой не повторный) заставил его решиться.

Выбив задом скрипучую дверь, Груша вытащила все еще бормочущего студента на крыльцо, безжалостно залитое лунным светом. Тут было все, что нужно для романтического свидания. Покосившиеся перила, жасминовые дебри, свиристящая насекомая чепуха. Чувствуя, что выбивается из сил, Груша сделала последнее усилие. Аркадий сверзился по трем трухлявым, но высоким ступеням, ударясь коленями. Только внизу, уже на траве, он понял, как ему больно, и потянулся руками к больным местам, топя в тихом стоне детали своего сложного бреда.

Воспользовавшись добытою свободою, Груша бросилась бежать по траве высокой, уворачиваясь от веток ухватистых, за угол дома. Мимо генеральского флигеля к длинному сараю служебному. С одной, ей-богу, единственной целью – избежать освещенных лунным вниманием мест. И если бы не белый, как смерть, фартук, этот выслушавший столько грязных и странных предложений, не потемневший от возмущения и тоски кусок ткани, – вот если бы не он. Груша бы сумела темной стороной имения проскользнуть на прежнюю ровную дорожку своей незамысловатой жизни. Но фартук выдал, идол.

Груша скользила, спиной прижимаясь к стене служебного флигеля и перебирая по ней руками. При желании можно было заподозрить в ней женщину, желающую скрытно прокрасться в некую дверь.

Василий Васильевич вздрогнул, потревоженный истошным женским криком. Он осторожно, но быстро встал – Галина Григорьевна не проснулась. Натянув халат и положив в карман браунинг, вышел из флигеля.

Крик убиваемой Груши разбудил не только его. Первым у места чудовищного преступления оказался Саша Павлов. Он был, в общем-то, и свидетелем случившегося, ибо бродил по саду от окна к окну, стараясь проникнуть в смысл происходящих вокруг ненормальных событий. Сразу же после Василия Васильевича явилась чета Корженевских. Они были вполне одеты. «Мы еще не ложились», – счел нужным пояснить кому-то Евгений Сергеевич.

«В три часа ночи», – подозрительно подумал генерал. Проступила из темноты Настя.

– Что случилось? – спросила она, поднимая над головою толстую свечу. Ей никто не ответил.

Привалившись к стене, сидела Груша. В ее некогда белом фартуке в районе груди зияли две дыры, из которых текли два потока, сливаясь в один на коленях.

Генерал порадовался, что здесь нет Галины Григорьевны, и обратился к дамам:

– Может, вам не следует на это смотреть?

– Это Калистрат, – сказал Саша, – там, за дверью, должен быть еще один труп.

Генерал достал из кармана пистолет и что-то передернул в нем.

– Если бы сейчас был день, меня бы наверняка вырвало, – сказала Зоя Вечеславовна.

– Надо его немедленно разыскать, – сказал генерал.

– Чего его искать, он когда вышел оттуда, из комнаты, то пошел к сараю, – объяснил Саша. Настя опустила руку со свечою пониже, другую прижала ко рту, в горле билась повторная желудочная судорога. Генерал огляделся – кого взять на подмогу, – но потом решил, что справится сам.

– Помогите Насте, – сказал он естествоиспытателю.

– Как? – искренне спросил тот.

Калистрат сидел в бричке – с закрытыми глазами, сложив руки на груди. Он не стал оказывать никакого сопротивления. Только надменно покашливал, когда ему вязали руки и вели к погребу за конюшней.

– Разберемся утром, – сказал генерал.

После всего он отправился к себе во флигель. Странно, но он находился в приподнятом расположении духа. Хорошо, очень хорошо, что Галина Григорьев-

на ничего не видела, и не только потому, что сберегла свои нервы, но главным образом потому, что предоставила мужу возможность покрасоваться в качестве рассказчика о кровавом преступлении и о своем решительном поведении. Подходя к дверям, Василий Васильевич как раз обдумывал нравоучительный эпилог этой истории.

Так и не закончив мысль, он заметил, что в окнах спальни горит свет. Тем лучше, не придется будить жену, заставил себя подумать генерал, хотя сердце его заволновалось.

Открыв дверь спальни, генерал остолбенел, побледнел. Будь он чуть-чуть поапоплексичнее, не миновать бы удара.

Галина Григорьевна, облаченная в один лишь пеньюар и наброшенную на плечи шаль, сидела в креслах, и у ее ног располагался Аркадий Васильевич. Его явно спящая голова лежала на коленях мачехи. Тонкая артистическая рука голову эту поглаживала. Не без приязни (ничего материнского в этих движениях генерал не рассмотрел), о чем свидетельствовала печальная улыбка на устах генеральши.

И среди подчиненных, и перед начальством Василий Васильевич славился отменной выдержанностью. Профессиональная выучка помогла ему и на семейном фронте. Дождавшись, когда утихнут мучительные внутренние взрывы и появится способность управлять своими голосовыми связками, он сказал:

– А теперь объясните, мадам, что все это значит?

Он был готов к повинному пристыженному молчанию, готов был к хладнокровной (все же актерка) изобретательной лжи, готов был к покаянным истерическим слезам, расцарапыванию щек и ползанью по полу в поисках пепла. Даже к потоку встречных обвинений – в смысле «ты сам этого хотел» и «нечего жениться на молоденьких!». Но Галина Григорьевна его удивила, она подробно и почти спокойно объяснила, что значит все это. И объяснения ее были чудовищны по своей неправдоподобности и аляповатости. Она утверждала, что Аркадий явился в халате и в слезах, а колени в крови, что пал перед ней на эти больные колени и рассказал, что утонет вскорости в каких-то весьма отдаленных болотах. Что он не видит никаких путей к спасению, и от этого жизнь его сделалась адом. Он рыдал и обнимал ее (Галину Григорьевну), но не как женщину, а скорее как мать, как единственного человека, которому может довериться.

– Вот и все, – искренне похлопав ресницами, сказала генеральша, – а потом он заснул, измученный.

Василий Васильевич молчал.

– Вот видишь, я говорю, а он спит, – этот факт бывшая актриса подала как безусловный аргумент в какую-то свою пользу. Воспринял ли его так Василий Васильевич, осталось неясным. Он, старательно передвигая дрожащие от ярости ноги, прошел к свободному креслу и сел в него. Почувствовал себя увереннее.

– Болота? – спросил он, открывая следствие.

– Да, да, Мазуриковские, – торопливо подтвердила супруга, ей было приятно, что ее понимают.

– Но зачем, – жутко хмыкнул генерал, – какие-то специальные болота, когда в округе полно своих?!

Сильно было подмечено, безжалостно, и Галина Григорьевна, потупившись, поняла, что ее позиция в чем-то небезупречна: что она может быть понята не так, как она сама себя понимает. Актриса новыми глазами посмотрела на симпатичную

спящую голову у себя на коленях, и ей захотелось схватить ее и выкинуть за окно. Тогда прекратится опасная неловкость между женою и мужем. Теперь она уже и сама начала подозревать, что эта горячечная история про скорую гибель в чужих болотах неубедительна. Тем более при этой прильнувшей к коленям голове. Как же можно было так неосторожно проникнуться?! Наваждение!

– Должен вам заметить следующее, мадам...

– Не говорите так, – негнущимся от ужаса голосом прошептала Галина Григорьевна.

– ...рассказанная вами история смехотворна. Вы сами от нее откажетесь. Но что бы вы мне ни рассказали впоследствии, это не изменит моего отношения к вопиющему факту неблагородства и предательства. Теперь я безусловно прихожу к выводу, что моя женитьба на вас была чудовищною ошибкою. Мы отныне прекращаем супружеские отношения. О способе, коим мы разорвем узы нашего негодного супружества, я вас извещу.

– Васичка...

Генерал встал, пасмурен и тяжел.

– Вынужден обратиться с одною к вам просьбою.

– Конечно, Васичка, конечно...

– До нашего отъезда из Столешина не афишировать вашу связь, равно как и наш с вами разрыв.

– Какая связь? Какая связь?

– С тою же просьбой обращаюсь к этой столь натурально спящей голове. Я прошу вас о соблюдении приличий, не чрезмерная просьба.

– Да какая связь?! – Галина Григорьевна схватила Аркадиеву голову за височную кудрю и яростно дернула, клок остался в кулаке. Юноша съехал на пол и так, не просыпаясь, зарыдал.

ВТОРАЯ ПОВЕСТЬ ОБ ИВАНЕ ПРИГОЖИНЕ

Двойник

Иван Андреевич очнулся. Дадим ему время свыкнуться с его новым состоянием. Нужно описать ложе, на котором он это сделает. Массивная, красного дерева амфисбена, в том смысле, что нельзя понять, где у этой кровати голова, а где ноги. Обе оконечности венчаются плавно загнутыми вовне спинками. И на левой, и на правой вертикальных панелях налеплено по бронзовому Гермесу; горизонтальная панель под шелковым матрацем, во всю ширь занята ползучим бронзовым растением, вьющимся в разные стороны из пятиконечного медальона.

Если бы Иван Андреевич мог наблюдать свое пробуждение со стороны, он несомненно узнал бы именитый экспонат музея декоративных искусств в родном Париже. Кровать Гортензии Богарнэ. Но внимание очнувшегося было занято двумя открытиями другого рода. Он почувствовал, что под простынею, наброшенной кем-то на него, он совершенно гол. А в ногах у него сидит женщина, одетая очень по-домашнему: волосы (огромное количество) распущены по плечам, полупрозрачный пеньюар, выражение глаз таково, будто она видела его, Ивана Андреевича, еще до того, как на него была наброшена простыня. Подозрение неотвратимо

превращалось в уверенность, и чем она становилась тверже, тем прекраснее казались эти молчаливые очи. Будто именно вид мужской слабости – та пища, что нужна демону женской привлекательности. В описываемые мгновения сей зверь был сыт и неотразимо загадочен.

Чтобы как-то утвердиться в обретенном мире, Иван Андреевич попытался опереться на прошлое. Но, сделав мысленный шаг назад, оказавшись в туманном аду дуэли, тут же ретировался. Почувствовал себя слишком слабым для подобных воспоминаний.

Сидящая великодушно моргнула. Господи! Хоть что-то человеческое не чуждо этой всеведущей душе! Кстати, кто она такая?! Лежащий знал, что, вспомнив имя этой женщины, он поймет все.

Она моргнула еще раз, и зародыш улыбки поселился в углу рта.

– Мадам Ева! – с огромным облегчением воскликнул Иван Андреевич, радостная судорога пробежала от левой ключицы к правой плюсне.

– Наконец-то. Я уже начала думать, что вы меня не вспомните, русский юноша, – чуть надменно (месть за медленную сообразительность), но в целом дружелюбно заговорила крупная красавица, – ведь это не первая наша встреча.

– Не первая? В каком смысле? – Иван Андреевич пробежал мыслью по своему обнаженному телу.

– Вам хотелось бы о ней забыть? Но не волнуйтесь, я считаю, что вы искупили свою вину. Мне нравятся такие характеры – сначала надерзить даме, а потом вступиться за ее честь.

Иван Андреевич старательно вспоминал их первую встречу, да, несколько бликов, облаков, яблок... но, кажется, никаких дерзостей. «Дракула» был позже. Пока он плавал в прошлом, мадам Ева успела незаметно приблизиться и теперь занимала место на уровне его чресел.

– А вот дуэль... – Молодому человеку хотелось узнать, чем завершилось это безобразие.

– Именно дуэль, – посверкала большими глазами мадам, – когда мне донесли, из-за чего она случилась...

– Из-за чего? – Сам дуэлянт не смог бы ответить на этот вопрос.

– Этот неприятно таинственный господин Вольф давно уже преследует меня своими неприятными чувствами. Долго отвергаемая любовь неизбежно превращается в ненависть. Вы избавили меня от его общества.

– Навсегда? – Иван Андреевич хотел спросить: «Я убил его?», но отчего-то не посмел. Ответ мадам был как бы исчерпывающий и одновременно слегка туманный:

– Все обстоит так, будто его никогда и не существовало. Был некий призрак и растворился в тумане.

Мадам Ева приблизилась на расстояние прямого дыхания. Рождаемое ею тепло полностью сообщалось щекам Ивана Андреевича. Потом она сделалась так близка, что он не мог одновременно видеть оба ее глаза и сосредоточился на одном расширенном, сложном, как географическая карта, зрачке.

– Мне донесли свидетели той сцены в трактире, что вы держались великолепно.

Иван Андреевич, впадая в панику и приходя в восторг, понял, что степень его близости с мадам Евой, возможно, сделается больше той, что возникает меж женским взором и мужской наготой.

– Этот усатый наглец, этот наглый усач раз за разом повторял: «С т е р в а! С т е р в а!» – мне объяснили, что это очень нехорошее русское слово, а вы раз за разом благородно парировали: «Я в восхищении, в восхищении!»

Ивану Андреевичу и нечего было ответить, и нечем, ибо губы его и язык вступили в приятную борьбу с агрессивным поцелуем. Но тут он вспомнил, что перед тем как схватить Алекса Вольфа за горло – вот так, вот так схватить (пальцы сами собой впились в талию «стервы» и обнаружили, что она обнажена. Пеньюар, как пена, собрался к ногам), – да, да, перед тем как сдавить шеищу этой черноусой сволочи, он вел с ней (со сволочью) беседу о... Господи! О матушке, о его, Ивана Андреевича, матушке Настасье Авдеевне. Этих нападок в адрес ее фамилии не смог снести любящий сын. А матушка каким образом возникла? Она возникла из разговоров о русской живописи. Каким же это образом? Он напряг силы еще не полностью отмякшей памяти. (Вспоминать приходилось, жадно целуясь.) Да, Вольф яростно поносил современную русскую живопись, а он, разумеется, подпевал, и только за Серова инстинктивно захотел вступиться. Вольф взялся утверждать, что Серов мразь, «Похищение Европы» (название картины произнес раз пять) – чушь, да и сама фамилия – дрянь. Во всяком случае – для живописца не годится. И тут Иван Андреевич заявил, что фамилия как фамилия, его матушка такую носила. И после очередной «дряни» или «мрази» пошли хрипы, выпученные глаза, суета официантов.

Иван Андреевич вел эти сложные мыслительные расчеты не в слишком подходящих условиях, но не мог прерваться, не добравшись хоть до какой-нибудь истины. Официантам, малограмотным руситам, в свирепой словесной каше кабацкой ссоры, очевидно, просто почудились слова «стерва» и «восхищение». Они отчасти похожи на «Серова» и «похищение».

Оторвавшись на мгновение от губ мадам, Иван Андреевич глотнул теплого воздуха.

Соображения, по которым они (официанты) одному из дерущихся приписали только ругательства, а другому только славословия, остаются на их темной официантской совести. Но, убей бог, непонятно, отчего эти с искаженным слухом аборигены решили, что имелась в виду именно мадам Ева?! Мадам Ева, ма-дам Е-ва, ма-дам Е-ва, мадам Е-ва, мадам Е-ва, дам-ева-ма, е-ма дам-ва, дам-ва е-ма, ва-ва е-е, дам-дам ма-ма, мама! ма-ма! ма-ма! а-а-а-а-а!

«Дорогая, родная моя матушка Настасья Авдеевна! Пишет тебе твой несчастный сын Ваня. Пишет в минуту тяжелую, лютую. Скоро, ох, скоро выходить мне на мое последнее поприще. О многом грущу я над листом этим белым, но горше всего над тем, что огорчу тебя, любимая, дорогая моя!..»

С этими словами проснулся Иван Андреевич. Он был один в кровати, но не один в комнате. Рядом с кроватью стояла плоская молчаливая горничная, на сером рукаве она безучастно держала платье молодого человека, гостя хозяйки. Иван Андреевич посмотрел на нее с некоторым смущением, но тут же понял, до какой степени она пребывает в должности прислуги – ее можно не стыдиться.

Обернувшись многострадальной простыней, Иван Андреевич проследовал в ванную. Зеркала, никелированные чудеса суперсовременной сантехники, мрамор и шкура хорошо питавшегося хищника под ногами. Радуга халатов и полотенец на вешалке. Иван Андреевич глянул в опальное озерцо, висевшее на стене: удивлен-

ное, но довольное животное. «Я ведь пару часов назад убил человека», – подумал он и ничего не ощутил. Даже усмехнулся. И тут же с невольным урчанием полез под поток шелковой воды, рожденный поворотом хрустального крана.

Стол был сервирован на троих.

– Мадмуазель Дижон, – сказала мадам, и Ивану Андреевичу пришлось поклониться рослой, усатой, уныло одетой тетке с базедовым взглядом. Конечно, вспомнилось ему, она мелькала на бале. Кажется, он был даже ей представлен мсье Вороном. Конфидентка. Поправим – не мелькала, но почти неотступно высилась в районе сладкого буфета. Иван Андреевич, прихотливо перемещаясь по зале, изволил видеть мадмуазель с разных сторон и посему впал в гераклитову ошибку.

– Мсье Пригожин, мой новый секретарь. Он специалист в мебельном искусстве и любезно согласился разобрать наши вековые завалы.

Иван Андреевич удовлетворенно поежился, его положение обрело определенность. Он благодарно поклонился благодетельнице. Она приветливо улыбнулась ему в ответ. В улыбку было подмешано немного приятной двусмысленности. Иван Андреевич скосил взор в сторону мадмуазель: разделяет ли она общее пикантное настроение? Мадмуазель была застегнута на все пуговицы приличия. «Какая неприятная, – подумал Иван Андреевич, – как хорошо, что не она здесь хозяйничает!» Усаживаясь за большой овальный стол с роскошной фруктовой вазой, сошедшей прямо с голландского натюрморта, он спросил:

– О мадам, я видел ваши разнообразные богатства и хотел бы спросить: вы предполагаете составить интерьер в каком-нибудь едином стиле?

– Нет, нет, я не терплю однообразия. Ни в чем, вы скоро это почувствуете. Неизменна в моей жизни только мадмуазель.

Конфидентка выразила столько же признательности, сколько глазастая статуя.

– Я бы хотела каждую залу оформить в особенном стиле, – ничуть не обиделась мадам.

– Мне случайно довелось побывать в дальних помещениях дворца...

– О, далеко не все из того, что вам довелось там увидеть, принадлежит мне. Следы прежних владельцев и прежних времен, посему такой хаос.

Отворились высокие ампирные двери, и красно-синий лакей-мулат вкатил и столовую трехэтажный сервировочный стол, богато уставленный. Сверху громоздилась огромная серебряная полусфера. Новый секретарь сосредоточил на ней свое внимание, пытаясь на взгляд определить, горячая она или нет.

Другой лакей сгустился у него за плечом и налил в высокий бокал густого белого напитка. Иван Андреевич поднес его ко рту. Отхлебнул. Замер.

– Молоко, – неприязненно объяснила мадмуазель.

– С кровью? – беззаботно пошутил новый секретарь, он чувствовал себя на коне, ему хотелось острить, блистать и продолжать нравиться. Этим женщинам вряд ли известен источник, из которого почерпнут каламбур, но он попытался объяснить: – По-русски «кровь с молоком» означает крайнюю степень здоровья, а если, наоборот, молоко с кровью... – Он остановился. Холод, как неправильно подвешенный аксельбант, охватил левую часть груди. Ведь не далее как вчера он обвинил мадам Еву в родстве с Дракулой. Он осторожно поглядел на хозяйку. Ма-

дам напряженно ела. Веки ее приспустились под тяжестью аппетита. Витиеватой историей из жизни чуждого ей языка она ничуть не заинтересовалась. Мадмуазель, напротив, глядела на него очень даже понимающе, однако без всякого восторга от того, что было ею понято.

Иван Андреевич положил себе на будущее не только воздерживаться от сложных шуток, но также и от употребления родного языка, раз его так небрежно принимают в доме. Он будет впредь говорить только по-французски. Надо думать, мадам станет отвечать ему взаимностью.

К мясу было подано вино бордового цвета, но не французское. Потом яблочный пирог и очень сухое шампанское. В конце сыр. Хозяйка, судя по всему, любила поесть (конфидентка тоже) и в застолье соблюдала галльские обычаи.

Прием пищи закончился внезапно. Мадам объявила, что ей необходимо – и срочно – составить письмо Бильскому бургомистру. Это в Швейцарии, объяснила она. Почему это нужно было объяснить, Иван Андреевич понял чуть позднее. Он вскочил, комкая салфетку, торопливо двигая челюстями. Вид у него сделался деловой и озабоченный, в дверях он обернулся и наткнулся на нескрываемо иронический взгляд мадмуазель. Так она благословляла на секретарское крещение. Иван Андреевич понял: они с базедовой дурой враги.

– Вам следует переодеться. Уж таков замысел. Все нужное вы найдете в своей комнате.

Плоская горничная – Женевьева, так ее звали, – уже ждала его с ворохом тряпок.

– Костюм тирольского горца, – тихо объявила она. Ивану Андреевичу не слишком была симпатична идея послеобеденного маскарада, но он счел за разумное подчиниться. Какие у него основания для капризов? Быть может, они сейчас будут оформлять швейцарскую спаленку и мадам хочет, чтобы все было на высоте. Он мужественно облачился в неудобно скроенные тряпки, натянул длинные, выше колен, сапожищи. Женевьева протянула ему шляпу с пером.

– Идемте, – сказала тихоня.

Они прошли шагов двадцать пять по унылому коридору, свернули налево, потом еще раз налево.

– Здесь.

За дверью играл патефон. Иван Андреевич не считал себя меломаном, но тут сразу же узнал – Римский-Корсаков, «Садко». Такой выбор музыки льстил ему как гостю.

Письмо писалось на узкой, скрипучей, как старая швейцарская конституция, кровати. Тирольское ложе знаменито прежде всего своим огромным навесом, который одним краем крепится в головах кровати, а другой вздымает, как створку открытой раковины. Иван Андреевич был вначале несколько закрепощен. Сначала ему казалось, что за ними наблюдают (кто-то же переворачивает пластинку, когда она кончается), но потом он остановился на мнении, что все дело в свойствах ложа. Чрезмерная раскованность в движениях грозила превратить совокупление в погребение. Грабовая доска навеса легко могла стать гробовой. Его мучил вопрос: с какой целью был применен этот массивный козырек? Типично альпийское ханжество – вот сила, которая вознесла два пуда древесины на саженную высоту. Дело в том, что в изголовье этих гордых горцев полагалось висеть распятию. Сбросив свои оперные сапоги и оперенную шляпу, сорвав белоснежный фартук с

потупившейся супруги, альпийский стрелок забирался под защиту навеса, чтобы вид того, как именно он занимается любовью, не увеличивал муки Спасителя.

Изготовив три варианта послания (мадам каждый раз удалялась куда-то, словно должна была кому-то показать текст), пара импровизированных горцев направилась в столовую. Проспав, правда, часа два с небольшим.

Стол их ждал. Все было на месте или наготове. Приборы, лакеи, мадмуазель Дижон.

Поскольку на дворе брезжило утро, мадам Ева потребовала свежих придворных сплетен.

С угрожающей ловкостью очищая сицилийский персик, мадмуазель рассказывала: импотенция князя зашла так далеко, что он озабочен уже не тем, что ему не спится с женой, но как бы совсем не спиться. Пока Розамунда меняет секретарей (выразительный взгляд в сторону Ивана Андреевича) и учителей сербско-хорватского языка, князь Петр меняет напитки. Интрижка с божоле не затянулась, князь вернулся к арманьяку.

Личный сапожник княгини грек Мараведис заболел гепатитом. Теперь ищут другого немого тачателя, которого можно посвятить в тайну, ни для кого не являющуюся тайной: левая нога княгини на десять сантиметров короче правой.

Мадам Ева высказалась в том смысле, что для нее печень правителя так же безразлична, как и печень сапожника. Руки – вот что в них ценно. Причем правителю достаточно одной правой, ибо именно она держит подписывающее перо.

При словах о пере и писании взор мадам затуманился. Она вспоминала, все ли запятые поставлены в окончательном варианте послания бильскому бургомистру.

– О господине Пригожине, – грубо шелестнув газетным листом, строгая сплетница вторглась в приятные мечтания мадам.

– Что там?

Иван Андреевич застыл с чайной ложкой во рту. Оказалось, что в «Вечернем Ильве» написано, что, «по сообщениям наших корреспондентов из России, господин Пригожин находится в данный момент в отдаленных местах сибирских гор, где успешно охотится на многочисленных медведей. Пригожин чувствует себя хорошо, но сожалеет о той участи, которой подвергся таинственный Алекс Вольф».

– Как мил этот мсье Терентий, – улыбнулась мадам, – а ведь я его ни о чем не просила.

Иван Андреевич подумал, что согласен, пожалуй, с конкурентом Ворона, мсье Паску, – хорош только мертвый журналист. Вслух он выразил сомнение в том, что кто-нибудь поверит этой «клюкве».

На это мадмуазель Дижон сухо заметила, что зря он относится к этой попытке помочь ему с пренебрежением. По ильванским законам дуэли строжайше запрещены.

– А поединок, – она пожевала толстыми губами, – с исчезновением одного из дуэлянтов грозит победителю пожизненной каторгой. Наказываются даже жертвы. Например, господин Вольф никогда не будет похоронен в церковной ограде.

– Хватит об этом, – властно и нетерпеливо сказала мадам, – дело прежде всего. Нам предстоит расшифровать одну древнеримскую надпись. Интересно, о чем размышляли помпеяне перед извержением Везувия.

Громадный овальный стол в ампирной столовой стал сердцем дворца. Из любых самых дальних и экзотических мебельных экспедиций возвращалась к нему довольная путешественница, сопровождаемая утомленным секретарем.

На юго-запад, если взять за точку отсчета вечную вазу с фруктами в центре стола, в шестидесяти примерно шагах (из них двадцать вверх по лестницам) поджидало мадам ранневозрожденческое безбалдахиновое чудо. Веронский мастеровой покрыл все поверхности, доступные резцу, мелкой отчаянной резьбой, увековечив все странные и сложные изгибы своей эротической грезы.

После того как мадам и новому секретарю удавалось развязать бесконечные ленточки и освободить крючочки в недрах замысловатых ломбардских одежд, на этой площади разворачивались такие картины, которые были совершенно невообразимы в унылом тирольском пенале.

Вместе с тем нужно было отличать особенности бурной итальянской раскрепощенности от утонченной развращенности древних италийцев. С этой последней следовало начинать юго-западную дорогу в обширном и слишком прохладном Медиоланском триклинии. Одно дело – предаваться любвеобильному любованию виноградными орнаментами, совсем другое – разгоряченной дешифровке писаний, навечно оставленных в развратном каррарском мраморе. Ивану Андреевичу нравилось здесь особенно потому, что античные одежды выгодно отличались от средневековых простотой устройства и готовностью самостоятельно сползти с разгоряченного тела.

На юго-западных путях мадам с молодым секретарем вкусили и итальянского и италийского. И неизменно их картинные, хотя и жаркие объятия сопровождались нытьем лютни или классическим каляканьем кифары.

Западное направление тоже пользовалось вниманием. Мадам Ева особенно хорошо чувствовала себя в сверкающих объятиях Людовика XIV. Позолота, начищенная медь, цветной мрамор и прочая чушь, на первый взгляд не имеющая отношения к сути дела, царили здесь.

Кроме того, Ивану Андреевичу в этом павильоне казалось, что во Франции XVII века всякая любовь – это дело втроем с королем. Повернись хоть так, хоть этак, хочешь – распрямись, хочешь – скукожься, можешь – перекрути партнершу, хочешь – заверни в тулонский узел, – все равно на ближайшем предмете обстановки, прямо перед носом у тебя будет шифр-медальон короля-Солнца в виде лучезарного Аполлонова лика или двух перекрещенных литер.

А музыка! Мадам требовала клавесин, и только клавесин. Такая пластинка была, видимо, одна, и в ней имелся трудноуловимый, но мучительный для слуха дефект. Сквозь дребезжание основного инструмента все время чудилось чье-то рыдание.

Пару раз выбирались на острова.

Постель британца его крепость.

Иван Андреевич почувствовал это на своих шкуре, ногтях, волосах, зубах. Непонятно, пожалуй, но ничего не поделаешь. Мадам Ева взяла со своего секретаря клятву, настоящую, скрепленную кровью, что он никому, никогда, даже если они расстанутся, даже если расстанутся врагами, даже после ее смерти не расскажет, что происходит между ними за таинственными стенами Хепльуайта и Чиппендейла.

И даже о том, что это вообще имело место, будет молчать. (Кстати, в Англии не было никакой музыки.)

Иван Андреевич дал такую клятву и был намерен ее сдержать, тем более что это было и в его интересах. К задней части дворца примыкал сад, отданный в ведение громадного и улыбчивого болгарина. Как и все садовники, он не считал людей правящим классом природы и особенно плохо относился к вегетарианцам. В этом была своя логика, растения беззащитнее животных. Но перед хозяйкою благоговел.

Завидев мадам Еву, он мчался к ней на кривых ногах, обнажая в милой улыбке желтые зубы престарелой, но оптимистически настроенной лошади. Хлопая себя ладонями-лопатами по кожаным штанам, кожаному фартуку и кожаным щекам, он настаивал на немедленном путешествии или в розарии, или в альпинарий. И казалось, что от этого фанатика нет возможности отделаться без скандала. Но стоило хозяйке сказать, задумчиво глядя в розовую щель меж белыми облаками: «Мсье Аспарух», – как он кидался в бегство и сразу за поворотом аллеи превращался в старую ракиту.

«Дорогая моя матушка Настасья Авдеевна и батюшка мой Андрей Поликарпович. Пишу вам в отчаянную минуту, ибо спустя малое время должен буду отправиться на защиту чести своей...»

Не закончил свое послание родителям Иван Андреевич в день дуэли, никак не мог продолжить его и в последующие дни. Неоднократно разворачивал он длинный, наполовину исписанный лист, пробегал быстро увлажняющимся взглядом вышеприведенные строки и опускал уже изготовленное перо.

Не было сил, еще меньше было свободного времени и почти никогда – подходящего состояния духа для продолжительного разговора с родными.

Обращаясь к матушке-старушке мысленно, он ловил себя на том, что применяет странную псевдосказовую интонацию. Чувствуя, что фальшивит, фальшивить не переставал. Был уверен, что такая словесная лебеда лучше всего врачует раны материнской души.

«И скучаю я здесь, родная, и рвусь домой, да дела важные, ученые меня пока здесь удерживают».

Написав эту заботливо-лживую фразу, он сначала устыдился, а потом попытался подбодрить себя мыслью, что по-другому нельзя. В самом деле – не излагать же всю постельную правду подслеповатой толстухе Настасье Авдеевне, беспросветно богобоязненной мамаше своей.

Суетливая слеза мгновенно скользнула по носу и, попетляв по небритой щеке, упала в таз с малиновым вареньем, что пузырится на летней плите посреди родимого костромского сада. Настасья Авдеевна снимает горючую сыновнюю слезу под видом сладкой пенки, тяжко вздыхает и растворяется в дымах отечественных.

Не имея возможности написать полноценное письмо, Иван Андреевич решил облегчить свою душу ведением неких «записок». В них он решил отразить все те небывалые обстоятельства, которыми он был окружен за последнее время. Собирался он уделить внимание и тем странностям, что с некоторых пор стал замечать в своем собственном характере и в поведении. «Положительно, во мне поселилась болезнь, похожая на слабое и непостоянное размягчение мозга. Временами краем глаза я вижу предметы как бы отраженными в кривом зеркале. Таковое наблюдал ребенком на Ярославской ярмарке. Знакомая вещь вдруг баснословно или смехотворно искажается, находясь на краю зрения. Стоит же повернуться к

ней в лоб, смотрит прежнею, как ни в чем не бывало. Случилась однажды даже с самою мадам такая глазная подмена. Лежу на голландской простыне. Мадам должна явиться ко мне справа, и вот слышу звук шагов, но глазом вижу несомненную мадмуазель Дижон. Поворачиваюсь (в ужасе, между прочим), – слава богу, ошибка. Мадам пришла». «Слух тоже нехорош. За стеною аглицкого зала мне постоянно слышится какой-то стрекот. Похожий на работающий машинный цех. Я спросил у мадмуазель Женевьевы, нет ли во дворце какой-нибудь мастерской. Получив ответ отрицательный и весьма удивленный, озаботился пуще прежнего. У мадмуазель Дижон спрашивать побаиваюсь – засмеет. О подобном вопросе к самой мадам и думать страшно».

И лист привычно сворачивается в трубку.

Иван Андреевич висит в английском шезлонге, закинув каблуки выше головы. Сброшенный пиджак неловко обнимается со стволом сливы. Глаза обессиленно закрыты. На животе жилета водружена бронзовая чернильница, украденная с письменного стола мадам. Она явно удивлена, ей давно не приходилось стоять на мягком. Задумчиво оскаленные зубы секретаря покусывают за хвост столь же похищенное, как и чернильница, стило. Глядя на эту сцену со стороны, хочется дать блаженствующему тихий совет – не открывайте глаз. Как можно дольше, ибо в ногах уютной сети стоит садовник. И раздумывает, позволительно ли кашлянуть. Болгарская воспитанность позволяет ему заговорить только после того, как он будет увиден.

Висящий опять начал что-то самозабвенно нашептывать. Аспарух не смел вторгаться на территорию транса.

«Матушка, всем сердцем, всем сердцем стремлюсь я домой, всем сердцем, но не знаю, не ведаю, родная моя, когда Бог, когда Господь наш сподобит меня. Сыт я вполне, и одет, и во всем прочем никакого утеснения не испытываю. Постигаю секреты ремесла, за коими и отправил меня батюшка в злынь-заграницу», – текла вольно мысль.

Последние слова понравились Ивану Андреевичу своей самовитостью. Начал он казаться себе чем-то вроде былинного и одновременно плененного богатыря. Надобно, подумал он, такое словесное достижение зафиксировать в книжечке. Для этого пришлось размежить вежды.

– Пожалуйте переодеваться, – улыбнулся болгарин.

В таз с малиновым вареньем рухнула дохлая ворона. Настасья Авдеевна, причитая, убежала в дом.

Сразу после обеда два молчаливых лакея прошествовали в глубь сада со свернутым албанским ковром. Третий нес бронзовую жаровню, наполненную ароматическими углями. Четвертый – приспособление, напоминающее чем-то систему переливания крови. Очень богато украшенное и потребительски невразумительное. Может быть, это был кальян.

Иван Андреевич, уныло улыбаясь, облачался во влажно-красные, волнующиеся вокруг икр шальвары, надевал простроченную золотой нитью безрукавку, вставлял босы ноги в стоптанные, хотя и сафьяновые, бошняцкой моды чувяки. С сильно задранными носами. В зеркало он сказал: «Кисмет!»

В этот момент садовник с нехарактерным для него зверским выражением рта кривым басурманским ножом полосовал плетеное тело шезлонга. Велено было истребить это непригодное для любви ложе.

Иван Андреевич вышел из своего покоя в коридор, шаркая мусульманскими подошвами. Из-за поворота на него вылетела разгоряченная горничная. Их было много тут, имени этой он не знал. Испуганно и часто оглядываясь, она зашептала по-руситски, чтобы он как можно скорее бежал из этого дома. Как можно скорее, пока еще можно это сделать, но скоро будет нельзя. Бежать, бежать, иначе будет худо. В руситском языке тоже бытовало это хмурое слово. Во время этой искренней речи Иван Андреевич великодушно, а значит, и глуповато улыбался. Он ни слова не успел вставить. Попытался узнать имя этого кристально чистого фартука, но не успел. Что-то особым служилым чувством почуяв, она застонала и упорхнула за поворот коридора. Из-за этого поворота тут же донеслись звуки оплеух. Звук нельзя было спутать ни с каким другим – длани старой девы извлекают его из щек провинившейся девушки.

«Однако!» – очень уж общо подумал Иван Андреевич и вышел в сад.

Перспектива заниматься любовью на лоне садовой зелени смущала его. Как-то это нескромно, даже если полянка укромна. У стен растут уши, а у зарослей – глаза. Чтобы войти в сложный образ лесного – и притом мусульманского – насильника, он зарылся в кусты, намереваясь угрожающе сквозь них прокрасться.

«Желаю тебе, матушка, здоровья крепкого, и батюшке крепкого же здоровья. А обо мне беспокоиться не надо. Но помолиться помолитесь».

Теряя на ходу обувку с чужого плеча, Иван Андреевич пошел на приступ.

«Открылось давеча вот что. Уши мои нисколько не больны. Стрекот за стенами делается телеграфными аппаратами. Гуляя по дворцу, открыл случайно неприметную дверь, а там кипит работа. Ленты дрожат и лезут, барабаны крутятся. Меня попросили уйти. Очень недовольно. После этого господин в черном мундире с целым ворохом лент выскочил из оной двери и побежал наверх по лестнице. Я за ним, проследить – куда? Оказалось, в кабинет мадам, в тот, что с портретом Наполеона. Я, пользуясь особым положением в доме, вошел без доклада. Каково же было удивление мое, когда я встретил явное неудовольствие. Мне было велено идти в библиотеку. И тут я сказал, как я разумею, глупость. Я сказал, что в библиотеке нет ни дивана, ни какой-либо иной подходящей мебели. На что мадам расхохоталась, а бывшая тут же мадмуазель (это особенно жжет мое сердце) заметила весьма едко: «А вы что-нибудь почитайте сидя!» Очень стыдно. Поделом мне. Что самое поразительное: как они были в этот момент похожи друг на друга – эти две столь различные женщины».

В играх – садовых и прочих – сменилось между тем несколько недель.

Ивану Андреевичу трудно было измерять переживаемое во дворце время мерками, взятыми из прошлой жизни. Он заметил, что простое, уличное, общее для всех, равно участвующее в делах государственных и в приключениях сугубо личных время, вливаясь в трехэтажный мебельный склад с ликом трансильванского дворца, как бы сбивается с курса. Оно робеет, тыкается в двери и зеркала, может неосторожно повернуться и сделаться уязвимым для обостренного чувства. Может забыть свое рассеянное завихрение где-нибудь в курительной

или библиотеке, и тогда общение с сигарой или альманахом растягивается до бесконечности, оставаясь при этом непроницаемым для щупалец общего распорядка.

Использованное время не полностью вытекало наружу. Иван Андреевич выработал в себе умение выискивать в разных углах дома такие лужи. Это могло быть и в пыли-темноте заднего вестибюля, и на паркете центральной залы. Там он бывал на сотню-другую вздохов предоставлен сам себе, даже будучи в поле базедового зрения мадмуазель Дижон или в толпе лениво лавирующих лакеев.

Неправдою было бы сказать, что он пытался манкировать хоть в малой степени своими секретарскими обязанностями или ощутил потерю аппетита. Нет, он охотно взбирался на очередной возрожденческий ларь, служивший ложем ранним дожам. Его волновали венецианские объятия, его веселили сыры и цесарки, и не вина были виновны в приступах неопределенного томления, являвшегося в каморку его уединенного размышления.

Ненаписанное «письмо к матери» все пышнее и замысловатее распускалось в нем. Какой слезой оно было напоено! Какие фантастические филины и всхлипы селились в его ветвях!

Помимо тоски по родному дому дневник Ивана Андреевича питался ощущением стесненности, которого не мог не испытывать подвижный молодой человек, оказавшись в тисках не только строгого, но и не вполне понятного ему режима. Мало того, что ему возбранялось покидать территорию дворца, ему и внутри этой территории далеко не все дозволено было знать. Он повсюду встречал примеры какой-то сложной, таинственной, равнодушной к нему жизни. Дворец – отнюдь не сонный аквариум, но несущийся куда-то поток. Может быть, к водопаду? На окраинах невнятного здания, в его подвалах и тайных комнатах круглосуточно трудились или невидимые, или неведомые люди. Помимо открытых им «белых» телеграфистов встречались ему в пыльных и хладных закоулках и люди с ворохами черных лент. Широких таких, и как бы даже не бумажных на вид. Судя по тому, как эти двое перепугались при виде его, Иван Андреевич решил, что имеет дело с особо секретным «черным» телеграфом.

О мадам, мадам, Евушка моя, чем это ты занимаешься, что замышляешь, моя непроницаемость!

Разумеется, открытия свои он держал в тайне, рассчитывая разобраться во всем самостоятельно.

Второй по важности обязанностью Ивана Андреевича было развлекать беседою посетителей мадам Евы, тех, что дожидались своей очереди в обитой светлым дубом прихожей. Его самого эти разговоры забавляли, плюс позволяли считать себя человеком хотя бы отчасти полезным, поэтому ко всем гостям он относился с неподдельным дружелюбием. Настолько неподдельным, что те смущались или даже пугались. Род деятельности этих людей исключал возможность человеческих отношений с кем бы то ни было.

Граф Консел был наиболее частым визитером. Иван Андреевич заметил, что, когда докладывают о нем, мадам Ева снисходительно усмехается, а после его ухода бывает в постели рассеянна и задумчива. Что-то человеческое, родственное появлялось в ее объятиях. Подслеповатый подагрик нравился Ивану Андреевичу все больше.

По установленному в доме этикету секретарь занимал позицию за правым плечом мадам с бархатною папкой в руках и каменным выражением юной рожи.

Мадмуазель Дижон проводила с ним специальные и порой оскорбительные занятия по умению подражать каменному истукану. После того как гость усаживался, Ивану Андреевичу надлежало неторопливо, но стремительно удалиться.

Так вот однажды, окончательно уверовав в благотворную для себя роль графских посещений, Иван Андреевич великолепно ему подмигнул. Тот виду не подал, но, по словам мадам, «был очень настойчив сегодня».

На следующий день господину секретарю была доставлена в подарок огромная коробка конфет. Мадмуазель Дижон учинила целое расследование. Кто? Но посыльный не сказал ничего вразумительного. Отысканный через него кондитер только руками разводил – ничего, мол, не помню. Кажется, какая-то старушка принесла листок с адресом. Так ничего и не добившись, мадмуазель положила себе проверить каждую конфету, для чего забрала коробку к себе в комнату.

Почти так же часто, как граф, появлялся в кабинете мадам слоноподобный сэр Оскар. Ласковость его по отношению к молодым людям была общеизвестна. Иван Андреевич отвечал улыбкой на улыбку. Представив себе, до какой степени печальный гигант не знает, чему следует приписать явно выраженную приязнь молодого секретаря, Иван Андреевич разражался хохотом, едва прикрыв за собою дверь.

Однажды он привез с собою двух своих юных друзей. Рыжеватого, конопатого, бойкого Дюйма и шоколадного мулатика по имени Амад. Поскольку им тоже не полагалось присутствовать при беседе, Иван Андреевич повел их «поиграть в шары».

Аспарух мгновенно и охотно вымел усыпанную лепестками акации площадку. Иван Андреевич сбросил сюртук и закатал рукава.

«Играем на щелбаны», – сообщил он. «Как это?» Иван Андреевич показал. Их искренне восхитил тип валюты, которым придется расплачиваться проигравшему, и в конце концов одолели великовозрастного соперника. К появившемуся из дворцовых дверей сэру Оскару они кинулись с радостными криками, наперебой рассказывая о своей победе. В лице мадам, вышедшей проводить солидного посетителя, выразилось разочарование, как у владельца покусанной собаки.

– А долг? – крикнул паренькам Иван Андреевич, ему хотелось тут же претерпеть игрушечное наказание, чтобы превратить событие в шутку. Но дети отказались комкать удовольствие, они вприпрыжку бросились за своим монументальным папашей, громко обещая получить причитающееся «как-нибудь потом». Дюйм открыл дверцу коляски, Амад отвалил ступеньку. Накренив борт экипажа своей ножищей, сэр Оскар медленно погрузился в него.

Инерция смутной досады провела Ивана Андреевича шагов двадцать вслед за английским выездом из ворот дворца. Как глупо все получилось. У него в голове составлялся пассаж из пяти примерно фраз, при помощи которого можно было бы свести эту ситуацию к ничьей. Но никто не собирался его слушать. Оставалось сжать свой финальный монолог до выкрика и бросить его в спину уезжающему посольству. Но коляска, набирая скорость и громкость грохота по камням мостовой, уже проносилась сквозь створ. Лошади налегли на левое копыто. Порыв бледного пылевого облачка. Англичане исчезли. Иван Андреевич остановился.

Он собирался выругаться, но не успел этого сделать. Потому что увидел знакомое лицо. Бледное, усатое... Вольф! Ворота с торопливым треском затворились. Иван Андреевич кинулся к калитке, чтобы тут же проверить, было ли видение

лишь видением, или все же... В проеме калитки возник знакомый красный кафтан, пахнущий чесноком и токаем.

– Нельзя туда!

Оказалось, что действительно нельзя, там стоит на специальном посту полицейский, чтобы его, Ивана Андреевича, арестовать как закононарушителя. Так и не пустил. Впрочем, Иван Андреевич не очень и рвался. Силы оставили его. Их едва доставало, чтобы пристойно держаться на ногах. Он побрел сокрушенно к главному входу. К счастью, мадам уже не было на крыльце, вместо нее надменно высилась на верхней ступени мадмуазель. Стояла так, будто стояла здесь всегда.

– Там был Вольф. Кажется, – ответил секретарь на ее немой вопрос.

– Этого не может быть, – констатирующим тоном, без малейшего желания убедить или успокоить, заявила мрачная девственница.

– Моя пуля, хотя я не хотел стрелять и стрелял не целясь, попала ему... впрочем, я сам не видел, мне сказали. Я потерял в тот момент сознание. Или чуть позже. Впрочем, сам не знаю, как это все произошло... – Иван Андреевич замолк, осознав наконец ненужность произносимых им слов. Мадмуазель презрительно следила за его бессильными трепыханиями.

– То, что произошло сегодня, – результат ваших безответственных блужданий там, где вам появляться не надлежит. Невольно вы видите то, что вам не предполагали показывать. Впредь я бы попросила вас оставить ваши прогулки по дальним закоулкам дворца. Это не только моя просьба, но и пожелание мадам. Сосредоточьтесь на подобающем исполнении ваших прямых обязанностей. В добавление к сказанному я бы хотела передать вам острое неудовольствие мадам тем, что вы пытаетесь вступить в некие сношения с посещающими ее господами. Поймите, вы состоите при мадам, поэтому ваши сепаратные, а пуще тайные разговоры с такими людьми, как граф Консел или сэр Оскар, недопустимы. Особенно граф Консел, особенно! Идите переоденьтесь, через полчаса обед.

– Я, право, не в состоянии есть.

Мадмуазель очень внимательно посмотрела на него и ушла, приведя в смятение шумом своего платья сухие лепестки жасмина, лежавшие на граните.

«Странности продолжаются. Необъяснимое событие у ворот. Что-то со зрением. Покойники не могут вставать из могил, мадмуазель права. Но она тоже странная, намекала на какие-то мои „сношения". Имеются в виду коробка конфет от графа и щелбаны в долг от Дюйма с Амадом?»

Иван Андреевич пообещал быть впредь поосмотрительнее, но в тот же день дважды нарушил свое обещание. Первый раз в отношении неположенных прогулок. Задумавшись над странностями своего положения и о неясных видах на будущее, он оказался ранним утром в парадном вестибюле и там наблюдал, схоронившись за пальмою в кадке, как рыжий господин Делес покидает дворец с двумя большими железными коробками в руках, в сопровождении закутанного с ног до головы человека в австрийских офицерских сапогах и черной необычной шарманки, которую несли два молчаливых мулата. Господин Делес с офицером и шарманкой погрузились в автомобиль, подняли верх и укатили. Мулаты побрели в сторону кухни.

Второе нарушение случилось в полдень в библиотеке. Иван Андреевич сидел в кресле с томом Шадерло де Лакло на коленях и думал одновременно о нескольких вещах: о таких и этаких, о дальних и ближних, о высоких и интересных. Внезапно услыхал за спиною:

– А-а, вот вы где. – Это пел тоном давнишнего приятеля пан Мусил. Торговец смертью был последним человеком, дружбы которого стал бы по своей воле искать Иван Андреевич, но пришлось расшаркаться.

– Я, знаете ли, тут с книжкою... мечты разные... бездельничаю.

Пан Мусил состроил гримасу, говорившую: хоть на голове ходите, раз хороший человек.

– Мадам занята, у нее телеграфист, – как бы переходя к своим прямым обязанностям, сказал Иван Андреевич. Тут же разругал себя за то, что упомянул телеграфистов, вдруг это тайна.

Пан Мусил серьезно, понимающе кивал, хотя было непонятно, что именно он понял. Далее с его стороны последовал длинный, чрезвычайно путаный монолог. Немного лести, больше юмора, несколько блесток пафоса и большое количество доброй воли.

– О, – сказал Иван Андреевич, соображая, что ответить и стоит ли вообще отвечать.

– Учитывая все мною вышеизложенное, я не могу не подарить вам это.

Из-за заискивающе извивающейся спины явился кожаный футляр, из футляра явился огромный шестиствольный револьвер, богато отделанный.

– Заводы «Шкода», последнейшая разработка. Залповый огонь. Вынимаете из кармана – и дуэль невозможна. Одним выстрелом и оскорбителя и секундантов. Заводы «Шкода».

В душе Ивана Андреевича шевельнулось неприятное воспоминание об усатом негодяе. Толстяк, словно это шевеление уловив, продолжил свою песню. Разумеется, он, официальный представитель заводов «Шкода», прекрасно знает, что господина Пригожина здесь нет. Он охотится в сибирских горах на бурых мишек. Но не всякий может удовлетвориться газетным известием, есть еще люди, желающие верить глазам своим, а не печатному слову. Против таких надобно взять свои меры.

Заметая следы уверениями в своей полнейшей преданности, пан пропал.

Иван Андреевич, оглядевшись, спрятал за шкаф чешскую батарею и с любопытством спросил себя: мне что, уже дают взятки? Кому-то что-то нужно от секретаря пани Евы. Они, дуралеи, не знают, что от него ровным счетом ничего не зависит, ему даже телеграфные конфетти читать не доверяют. А может, надеются, что будет зависеть, и одаривают впрок? А может быть, секретарь и сам не знает, до какой степени уже сейчас влиятелен? Надо или разбираться, или ждать. Второе!

Что делать с жутким подарком? Найдется работа. Например, изрешетить конопатого и шоколадного. Голубые гаденыши, что теперь ваши щелбаны.

Пусть оно пока полежит за шкафчиком.

«А почему я, собственно, не убегаю? – вдруг образовалась в самом центре сознания мысль. – Потому, что боюсь полиции, которой, скорей всего, и нет никакой?»

Несмотря на выволочку, устроенную могущественной конфиденткой безалаберному секретарю, жизнь его сделалась много вольнее. То ли он до такой степени научился манипулировать распорядком дня, то ли мадам Ева ослабила хватку.

Уже не бродил за ним по зеленым закоулкам, хрустя кожаными доспехами, Аспарух, не скреблась в дверь мадмуазель Женевьева и не шептала, потупив взор, что он должен немедленно переодеваться к очередному приему пищи. Даже усатая конфидентка, мисс Непроницаемость, однофамилица чудного французского городка, сменила гнев на безразличие.

Ивана Андреевича это устраивало. Более всего его радовали два вида свободы: библиотечная и садовая, в обоих случаях блаженствовала голова. И над книгой, и под липой.

К этому времени относится несколько дневниковых записей. Их, верно, немного, и носят они явно разрозненный, случайный характер. Иван Андреевич опять возвращается мыслью к первому дню своего пребывания во дворце и пытается анализировать «случаи с картиною». Долго, на двух страницах молодой человек излагает свои соображения о природе своего тогдашнего недоумения. Соображения эти или очень путаны, или слишком убоги. Кроме того, при внимательном чтении становится понятно, что сама тема перестает быть животрепещущей с каждым новым замечанием по ее поводу. Пишущий смиряется с неразгаданностью этой тайны. Его устраивает жизнь, которую он ведет. Он перестает чувствовать себя птицей в сексуальной клетке.

Остальные записи вообще не заслуживают внимания. Он, например, с благодарностью вспоминает батюшкин совет – обливаться каждое утро холодной «водицей» в целях укрепления здоровья и благодарит (с непонятной экзальтацией, проявившейся даже в дрожи почерка) его за то, что он «не оставляет сына беспутного заботами своими и попечениями».

Сделаны Иваном Андреевичем и полезные ориенталистские наблюдения над ильванской жизнью. «А яйцо сырое разбивают местные поварские люди не поперек, как в нашем отечестве, а вдоль длины. На мнение мое, что это есть препустейший предрассудок, готовщики оскорбляются и выражают открытое сомнение в моей способности понимать вкус пищи вообще».

К чести Ивана Андреевича, он пишет о яичном споре в свифтовском духе, ему что вдоль, что поперек – все равно. Есть в дневнике несколько замечаний о способах перчения беконов, но стоило перу разойтись, пишущий, опомнившись, заявляет, что перчение сала есть открытое венгерское влияние и рассмотрение его как части ильванского образа жизни должно быть отставлено.

Подобного рода научные сальности пересыпаны дешевыми каламбурами типа: «Эх, чужбинушка, ухнем» (перед выливанием большой рюмки).

Итак, надо признать, что заведенный в целях сохранения некоего внутреннего суверенитета дневник Ивана Андреевича роль свою утратил, и его ждало неизбежное превращение в обычную непотребную тетрадь, какого-нибудь третьесортного Печорина.

Да, мадам ослабила хватку, но не разжала полностью пышных объятий. Каждый день совершался хотя бы один стилизованный выезд (музыка более не привлекалась для сопровождения любви). Желая, может быть, угодить своему беспутному спутнику, мадам выбирала направления, близкие его национальному сердцу. То это был екатерининский диван с подлокотниками в форме лиры (затылок зело жалуется), то карельская березовая ладья с лупоглазыми царевнами (лягушками) вместо ног.

Тонкая лесть посредством выбора стиля мебели не была по достоинству оценена Иваном Андреевичем, что задело похотливую путешественницу.

– Вы неблагодарный мальчишка, – заметила она, покидая новгородские полати, специально сооруженные где-то на северо-востоке третьего этажа, подальше от глаз ценителей прекрасного. Патриотический пыл в Иване Андреевиче пребывал в опавшем состоянии, он не способен был сообразить, что словесная месть относится к месту, на котором только что свершился секс. Что мадам в определенном смысле ставит своего секретаря на место.

На следующий день под португальским балдахином случился форменный скандал. Дело в том, что в любом, часто повторяющемся действии неизбежно со временем появляется рутинный момент. Поскольку тела помимо всего прочего есть еще и биологические машины, то их способности (в сфере любовной) творить и вытворять ограничены. Стало быть, в повседневной практике не обойтись без известной доли автоматизма. Мадам Ева считала по-другому. Она изволила вдруг открыть глазищи и застала Ивана Андреевича в состоянии трудолюбивого бездельничанья.

Восхождение было грубо сорвано. Наплевав на атлантические дали, которые можно было разглядеть с высокого португальского берега, мадам Ева устроила кровавый привал по дороге. Три оплеухи, кровоточащая ноздря, заплывший глаз. Несколько оскорбленно-оскорбительных фраз. «Вы так меня любите, господин любовник?! Что это за тайные мысли занимают моего секретаря?! Вы манкируете, как обезьяна!»

Мадам ушла. Голая. Ступая крупными белыми ступнями по липкому паркету.

Смущенный, досадующий (что, жалко было пары-тройки стонов?), немного даже испуганный Иван Андреевич направился в ванную комнату, чтобы остановить кровь. К брекфасту явился с ваткою в ноздре. Кровь давно не шла, но о полученной ране нужно было напомнить. За едою не было сказано ни слова, съедено (господином секретарем) немногим больше. Мадам и мадмуазель уписывали вовсю. Сопя перегруженным носом, Иван Андреевич всячески изображал гибель аппетита, пытаясь показать таким образом, что он отнюдь не животное, каким сочла его возлюбленная. Тело его может страдать не только от жары или холода, но и от переживаний душевных.

Таким незамысловатым способом выраженные раскаяние и признание постельной вины были оценены. Мадам Ева уже утром следующего дня сделала шаги к примирению. Все сорок – расстояние от основной ее спальни до юнкерского номерка, где Иван Андреевич проводил одинокие ночи.

Войдя к нему в одном, уже полурасстегнутом, пеньюаре, мадам не обнаружила негодника в постели. Но не успела ни расстроиться, ни удивиться – услышала тоскливое ямщицкое пение в ванной. Бесшумно сбросив одежды, мадам на цыпочках двинулась на голос. Выражение ее изготовившегося лица говорило: почему, собственно, кровать, полати, лежанка, диван, козетка, шкура, ларь, – почему не ванна?!

Словно почувствовав приближение своего счастья, Иван Андреевич сменил песенную тему, нытье переросло в бодрое, а потом и в бурное рычание. Мадам Ева не догадывалась, что ее секретарь в этот момент приступил к исполнению отцовского совета. Она намеревалась, отодвинув тонкую занавесь из плотного шелка, скользнуть под теплые струи и слиться с ними и со своим секретарем в экстазе.

Не по ее получилось.

Увидев сквозь тонкую ткань занавеси чью-то смутно обрисованную фигуру, Иван Андреевич испугался. Кто это там, неизвестный и бесшумный?

А-а, небось тихоня Женевьева с напоминаниями, что пора переодеваться. Ну, получай за свою исполнительность: Иван Андреевич до отказа отвернул ледяной кран, отдернул шелк и лупанул шумным душем перед собою. Ледяные струи ударили в грудь и лицо зрелой красавицы. Она заорала и завизжала одновременно.

За обедом мадмуазель Дижон объявила, что мадам Ева предлагает своему секретарю принять участие в автомобильной прогулке по Чарской долине. Целью прогулки (помимо завтраков на траве и любовании красотами предгорий) является город Тёрн, где двадцать четвертого числа должен состояться знаменитый праздник «опрокинутых чаш».

Надо ли говорить, как обрадовался и обнадежился Иван Андреевич. Три дня уже он не мог пользоваться обществом величественной хозяйки. Ему стало казаться, что он отставлен окончательно, и эта мысль была непереносима.

Увидев, как он просиял при этом известии, мадмуазель недовольно отодвинула от себя вазочку с мороженым, слизнула широким языком белые капли с усов и удалилась.

Итак, автомобильная прогулка.

Июнь в Ильвании – этим все сказано.

Несмотря на крошечную территорию, княжество располагало разнообразной, в основном курортного качества, природой. Имелось два вида гор. На востоке по-болгарски молчали живописные отроги Родоп под густою еловою шубой. Скалистые, как бы оскаленные вершины – македонская вывеска. Извилистая разноширокая долина Чары являлась любимицей и житницей страны. В северной части располагался Тёрн, второй и предпоследний по величине город княжества. В южной, уже отчасти нами описанной, – Ильв. Многочисленные, но малонаселенные руситские деревеньки (ступенчатые скопления черепичных крыш) обнаруживали стремление устроиться как можно выше над поверхностью долины. На самих заливных лугах руситы не селились. На берегах реки было не более десятка деревень.

Существовало два одинаково убедительных объяснения этого феномена. Профессор Жилянкович из Загребского университета, главный специалист по культуре балканских долин, настаивал на экономико-прагматическом истолковании. У руситов, мол, всегда было очень мало плодородной земли, они привыкли беречь каждую ее пядь. Поэтому они даже дома свои строили не на земле, а над землей. Спустились, возделали – и наверх, спать.

Антонин Плакучий, сорбоннски образованный руситский просветитель, считал такую точку зрения оскорбительной для своего народа. Он защитил блестящую диссертацию, в которой доказывал, что деревни строились в труднодоступных местах для того, чтобы уберечься от турок, армии которых имели обыкновение (в течение пяти веков) использовать Чарскую долину как самую удобную дорогу на христианский север. Поречные деревни – поселения поздние, что видно из песенного фольклора этих мест.

Но оставим этот старый спор славян между собой. Четыре открытых автомобиля выезжают из северных ворот столицы. Под колеса бросается бледный булыжник, по бокам стремительно строятся тополя. «Испано-сюиза» является

собственностью «дамы, таинственной во всех отношениях» (так Иван Андреевич теперь думает о мадам), три туринских экипажа предоставлены братьям Маньяки. Один из них – тенор – сам присоединился к развлекательной экспедиции.

Места в первой машине распределились следующим образом. На заднем сиденье (в центре) мадам Ева, слева мадмуазель Дижон, справа Иван Андреевич. Сиденья устроены в салоне каретным манером, так что сидящие на переднем улыбаются мадам и ее спутникам. Это Антонио Маньяки, толстозадый, томный, приторно-улыбчивый, какое-то оливковое масло в штанах. Он все время делает вид, что хочет отстраниться от занявшего центральное положение (по требованию мадам) мсье Терентия. Ворон делает то, для чего и вызвонен: он без умолку и не без блеску болтает. Что-то черкает в толстой лоснящейся записной книжке.

Мсье Терентий дает пояснения по поводу чего угодно. Название минуемой деревни, описание напитка, который может быть произведен из злака, растущего на пересекаемом поле, историческая (сказочная) справка по поводу торчащего на распутье каменного креста.

Сэр Оскар У. Реддингтон тоже в первом автомобиле, как и положено британскому подданному. Трость, локоны, одышка (даже в сидячем положении). Много ума, но еще больше сдержанности. Видит всех насквозь, но закрывает на увиденное глаза.

В машине номер два смешанная компания. Во-первых, здесь промышленник Мусил. Он дико выглядит в клетчатом туристическом костюме и громадных альпийских башмаках на угрожающе рифленной подошве. Была б его воля, он бы никуда не поехал. Зачем тащиться в горы, когда пиво и сосиски можно обрести не поднимаясь со стула. Единственной его радостью было то, что в поездку не приглашен этот француз-негрофил. Неужели рыжая наглая обезьяна отставлена вместе со своим псевдоантичным хозяином?! Чтобы получить на этот вопрос положительный ответ, пан Мусил готов был терпеть любые муки, даже пикники на горных лужайках.

Господин Сусальный молчал рядом. Увидев его, Иван Андреевич сначала испугался – не явился ли тот, чтобы его арестовать, но потом понял, что начальник полиции его скорее охраняет, чем преследует. Крыло мадам прикрывало лучше дипломатического паспорта.

Как без светской хроники, так и без полиции безумный этот выброс в горы обойтись не мог.

Хуже всего приходилось графу Конселу, он принадлежал к старой австрийской аристократии – породе людей, генетически не приспособленных к передвижению машинным способом. Он усиленно хмурился, пытаясь удержать на переносице пенсне, и ронял его после каждого чиха, вызванного атакой пылевого облака, присланного колесами лидирующего авто.

Третий экипаж был страннее первых двух. Капитан Штабс, бледный от обиды, что его сослали в третий класс, оделся в гражданское платье, чтобы не позорить прусский мундир. Он с удовольствием вообще бы не поехал, но получил задание выяснить, что за каверзу затевает породистая авантюристка. Почему отринут Делес и слегка приближен Мусил. Значит ли это, что она перестала шкодить «Шкоде» и поставила крест на «Крезе»? Чьими в конце концов пушками князь Петр будет переоснащать свою допотопную артиллерию? «Знаете, что вас ждет, капитан, если Ильвания последует примеру Сербии?»

Итак, он должен был мириться с обществом двух малолетних извращенцев и двух политических беженцев: румына и хорвата. Румын был священником, хорват железнодорожным чиновником. Оба являлись борцами за права своих народов и ведомств. Священник добивался у австрийских властей, чтобы они не вмешивались в дела Православной церкви; чиновник выступил против насаждения мадьярского языка на хорватских железных дорогах, так называемой «прагматики». Бежав от преследований, оба осели в Ильве и были приближены мадам в рассуждении каких-то отдаленных и не вполне ясных видов.

Капитан старался не смотреть в их сторону и не слушать их разговоров; они состояли из антимадьярских выпадов («скрестили свинину с перцем – получили венгерца») и рассуждений на тему: кто наконец застрелит этого негодяя? Имели они, конечно, в виду эрцгерцога. Штабс, как и абсолютно все в Европе, ненавидел Фердинанда, но, будучи офицером союзной ему армии, не должен был поддерживать такие разговоры. И не поддерживал.

В последнем экипаже пустились в путь три веселые девицы, выписанные мадам из единственного и одновременно лучшего модного дома в Ильве. Для каких целей – выяснится потом. Впрочем, девицам цели эти были известны отлично, и они не скрывали их от остальных слуг, устроившихся в том же автомобиле.

Все эти сложности и подоплеки были неведомы и неинтересны Ивану Андреевичу. Его мучило желание объясниться по поводу холодного, слишком холодного душа, коему он случайно (ну случайно же!) подверг свою благодетельницу. До отбытия возможности такой не представилось.

За полчаса до старта средь суматохи сборов состоялся короткий, как оскорбление, инструктаж. Суть его сводилась к тому, что в этой поездке Ивану Андреевичу следует помнить о том, что он именно секретарь, хотя большого количества бумажной работы не предвидится. Да, все догадываются об их особых отношениях, но от публичной демонстрации этих отношений надобно воздержаться. Спать безусловно в разных покоях. Тщательно избегать ситуаций, которые можно истолковать как уединение вдвоем.

«Высшие политические соображения требуют этого от меня, а я от вас».

Иван Андреевич дал слово мадам. Но не себе.

Сдержать его было тем труднее, чем ближе он находился к ней в машине. Максимально подобравшись на сиденье и устремив взгляд вслед объяснениям журналиста, Иван Андреевич позволял своему как бы неуправляемому колену тыкаться в ее сдобное бедро. Не получая ответа, он радовался тому, что неловкое послание хотя бы не отвергнуто с гневом.

Когда достопримечательная чепуха оказывалась слева, Иван Андреевич послушно поворачивался вместе со всеми, но не для того, чтобы осмотреть ее, а чтобы подышать осторожным воздухом в шелковый платок, обнимавший ее шею. Нагретая таким прикосновением ткань начинала пахнуть сильнее, и он принимал это мелкое парфюмерное чудо за обмен очень тонкими намеками.

Мадам Ева не смотрела в его сторону. Даже будучи предупрежденным по этому поводу, Иван Андреевич нервничал. И невольно начинал высчитывать, кому или чему достается большая часть внимания великолепных вежд. Он очень надеялся, что ильванской природе, однако оказалось – нет, оливковому певуну. И не только потому, что он сидел напротив. Вон Ворон тоже сидит прямо на-

против, да к тому же интересно болтает, но ему достаются лишь рассеянные улыбки дружеской признательности.

Это стало особенно заметно, когда автомобиль покинул Чарскую долину, взбежал на первый каменный уступ, и открылась на соседнем всхолмии аккуратная деревенька. Белые стены, красные крыши, зеленая муравчатая гора за спиной.

Двигатель гудел, затягивая все туже узлы внутренних усилий, и тут, как бы рожденная тугой механической волной, воспарила «черная ласточка», сладкая соррентийская песенка. Это было и уместно и артистично. Синьор старался, пел до дрожи в обширных ляжках. Мадам была в восторге. Иван Андреевич с тоскою осознал, что в этом мире тенора выше секретарей.

Нет, надо объясниться! Она все еще обижена на него. Она чувствует себя оскорбленной, а он не виноват. Совершенно, абсолютно! Если б она знала, какие муки ему приходится претерпевать, не имея возможности выговориться. Иван Андреевич пребывал наготове, все аргументы были начищены до блеска и наполовину вытащены из ножен. Внутренняя тетива была непрерывно натянута. И даже по ночам он не разжимал пальцы.

Мадам, пожалуй, догадывалась о состоянии спутника. Насколько он был готов дать объяснения, настолько она не спешила их принять. Запретив ему доступ к своему телу, она оберегала также от него и свое сознание. Стоило Ивану Андреевичу подкараулить момент ее краткого, но полного одиночества и броситься к ней с полным ртом словесной, сырой от слез каши, он видел на ее устах палец, повелевающий молчать!

Она просто хочет меня помучить, думал он и возвращался в выжидающее положение. Пользовался счастьем просто находиться рядом. Пользовался каждой возможностью коснуться ее плеча, шарфа или запаха. Собирал по крупицам впечатления и готовил тайный скудный ужин, без которого не смог бы пережить ночь. Угрюмую глухую ночь в предгорном славянском трактире.

На второй день мадам произвела перестановку. Сэр Оскар сел на место мадмуазель Дижон, а та в упор уставилась на господина секретаря. Иван Андреевич сначала расстроился, но тут же нашел успокаивающее объяснение. Если бы его тайные, невидимые для английского монокля ухаживания досаждали ей всерьез, она бы отселила неприятного ухажера к проституткам или гомосексуалистам. Ею был выбран другой путь. Натравив на него мадмуазель, она как бы сказала ему: продолжай меня хотеть, но сумей проявлять это так, чтобы даже моя бдительная дылда не заметила.

Что ж, Иван Андреевич страдал, Ворон вещал, сэр Оскар вздыхал, горы высились, экипажи катились. Кстати, чрезвычайно медленно.

– Здесь! – вдруг вздымала палец мадам, прерывая словотечение журналиста, и он, пожевав жабьими губами, менял тему.

– Этот водопад, господа, называется «коса красавицы». Считается, что именно возле него вестготский король Теодорих принял послов императора Валента. Здесь, тоже по преданию, был пленен турками предок князя Петра. Существовала также легенда, что витиеватой водяной колонной любовался сам знаменитый Ламартин по пути вояжирования в Болгарию. Или обратно.

Мсье Терентий прищурился на один глаз, припоминая соответствующую французскую цитату. Мадам Ева его перебила:

– Ночевал ваш Ламартин, конечно, в этом медвежьем сарае. – Она указывала при этом на длинное бревенчатое здание с гостиничной вывеской.

Синьор Маньяки захихикал.

– Холодная! – сообщил Дюйм Амаду, дотронувшись до висячей воды, набрал густо-белой пены, швырнул напарнику в шоколадную рожицу. Тот завизжал и бросился бежать по слегка наклонной альпийской лужайке, топча невинные цветочки.

Холодная? Это слово очнуло Ивана Андреевича. Он выпрыгнул из машины, решительно направился к водопаду и стал быстро раздеваться. Одежду навалил на серый валун, торчащий из сочного дерна.

Пожилая публика медленно выгружалась из остывающих авто. Одному сэру Оскару требовалось не менее пяти минут на эту операцию.

Увидев, что делает секретарь мадам, большая часть путешественников решила, что он собрался покончить счеты с жизнью. Непонятным оставалось, зачем было так далеко отъезжать от города и выбирать столь странный способ.

Рыча от наигранного удовольствия, почти голый Иван Андреевич стоял под хладным валом воды. Ему смутно была видна немая сцена у автомобилей. Сцена стояла лицом к нему. Высвободив перехваченное судорогой дыхание, он крикнул:

– Я привык, я всегда принимаю холодный душ. Каждый день! Меня батюшка научил.

Теперь-то она должна понять, откуда появился мокрый холод в их отношениях.

Разница меж цивилизованным душем и горным водопадом такая же, как меж болонкой и волчьей стаей. С тяжелым, но отчасти все же сладострастным воем вырвался секретарь из ледяных когтей стихии. К нему, привлеченные остро мужским рычанием, подбежали с хохотом девицы из третьей машины. И стали растирать его своими шарфами. Иван Андреевич всячески показывал, как ему весело. Он чувствовал, что нравится девицам, и хорошо, пусть она видит, как он популярен, хотя и мокр. Он попытался поймать взгляд мадам. Прочие смотрят на него с осуждением, с восторгом, с презрением, с удивлением. Но как смотрит она?! Никак!

Она под ручку с толстозадым тенором входит в гостиничные двери. Вошла.

Неужели ничего не поняла?!

Или поняла, но ей этого мало. Или нужно не этого?

А потом был ужин на траве.

Полыхал пахучий костер за спинами пирующих. Капал ароматный жир с кабаньей туши. На белых скатертях неустойчиво высились бутылки. Хозяин гостиницы с умильной и немного испуганной улыбкой бродил кругами вокруг рассевшихся господ и стремился лично плеснуть мускателя в бокал господина Сусального.

Три скрипача наяривали, закатив глаза, какого-то безумного, косматого, одичавшего в здешних еловых ущельях Брамса.

Дело зашло уже достаточно далеко. Поднятые на разных концах мягкого стола тосты при столкновении рассыпались дребеденью глупых словечек и еще более глупых смешков. Иван Андреевич, против всеобщего мнения не простудившийся, а всего лишь отчасти потерявший голос, веселился меньше других. Из-за своих переодеваний и растираний он опоздал к «рассаживанию» и обрел место на задворках стола где-то между церковью и паровозом. Очень скоро сюда с верховий праздника покатились по наклонной плоскости покусанные яблоки и пустые бутылки. Иван Андреевич не мог смириться с тем, что его место теперь, после

водного подвига, на помойке. Когда над его головой пролетела апельсиновая кожура и воздух потемнел (не от стыда), он решил, что надо пробираться наверх. Чтобы не привлекать внимания, это надо делать тайком. То есть оставаясь в лежачем положении. Вздымая правой рукой бокал с бледно-янтарным напитком, он левой цеплялся за альпийскую шевелюру, помогал себе каблуками и выгребал все выше и выше.

Ему предстояло обогнуть жонглирующего фруктами Дюйма, проскользнуть между двумя жующими жеманницами и ни в коем случае не потревожить клетчатый бочонок, представляющий интересы заводов «Шкода». А там уж можно распрямиться-вытянуться таким образом, что его затылок сам собою окажется в соприкосновении с ее коленом. И будь что будет!

План этот Ивану Андреевичу удалось выполнить почти полностью. Дюймова груша свалилась-таки ему на голову, мимолетные губы девиц оставили на его щеках запах цыпленка и табака. И вот он уже плавно, уважительно огибает полноватого папу австрийских пушек. Вытягивается вдоль по черно-зеленому шелку. Собирается в пружину. Подмигивает пламенному сполоху в глазу торговца смертью. И начинает распрямляться вновь.

Сейчас! Сейчас!

В этой толкотне теней и винных запахов многое можно. Щека касается... это же шнуровка высокого дамского ботинка! Не оттолкнула! Позволяет себя касаться! Секунду, пять, вечность!

Попробовать поерзать щекою?

Не слишком ли?!

Это же преднамеренная ласка. Табу. И юношеская щетина зашуршала по нечеловеческой коже.

И это позволено ему!

Неужели купание красного от холода секретаря достигло своей цели!

Слезы облегчения застлали голубые глаза счастливого Иванушки. Русая голова продолжала кошачьими движениями ластиться к шнурованному ботинку. Мир был прекрасен в этот момент. Вон пан Мусил заглатывает шпикачку, как необыкновенно обаятельная свинья. Мсье Ворон настолько блистательно острит, что добродушные шлюшки уже не бросают в него цыплячьими костями, а норовят поцеловать умную лысину.

Капитан Штабс, сэр Оскар и граф Консел были вне пределов видимости, но, вероятно, тоже на высоте. Не говоря уже о тех господах и дамах, что пляшут возле костра. Нет, там одна дама и один господин. И стоят они неподвижно. Пляшут языки пламени. Ивану Андреевичу вдруг стала мешать счастливая пелена на глазах. Он закрыл веки, подождал несколько мгновений (не отрывая щеки от любимого ботинка) и распахнул: возле костра стояли, соединившись бокалами, мадам Ева и тенор. Тогда...

Чтобы рассмотреть лицо владелицы чуждой обуви, Ивану Андреевичу пришлось совершить действие, называемое в механике червячной передачей. Увидев перед собой тяжко усмехающуюся гору с большими выпуклыми глазами и цветочной клумбой на шляпе, он почувствовал себя червем в полном смысле этого слова.

– Мадмуазель Дижон, – в ужасе просипел он, но звук, им изданный, очень сильно походил на голос с трудом подавляемой страсти.

Гора что-то миролюбиво пророкотала.

Иван Андреевич, воспользовавшись своим правом закашляться, уткнулся в платок и пополз на румыно-хорватскую границу.

Может показаться странным, но господин секретарь заснул легко в эту ночь, и ему не снились женские ботинки. И даже тривиальный жар не посетил его. После утреннего какао весело расселись по машинам. Положение Ивана Андреевича ухудшилось вдвое. Появилась еще одна женщина, с которой надо было объясняться. И он опять не представлял, каким образом изменить свою полную невиновность в случившемся. Пока хорошая мысль не придет в голову, он решил не встречаться взглядом с владелицей шнурованной обуви. Поэтому сделался жадным, неотрывным слушателем продажного писаки. Входил во все подробности рассказываемых баек. Истории мсье Терентия не были готовы к испытанию на интеллектуальный разрыв, он хотел забавлять, а не просвещать, поэтому внезапное и угрюмое внимание секретаря мадам встало у него как кость в горле.

Когда тот аккуратно закашлялся в платок, говорун обрадованно поинтересовался:

– Простудились все-таки?

– Эхо водопада, – пошутил Иван Андреевич и еще раз для совсем непонятливых повторил свою легенду: – Где бы ни приходилось путешествовать, не изменяю этой привычке – обливаюсь водой холодной. Очень проясняет мысли.

– Но может начаться чахотка, – сказал итальянец. Иван Андреевич хотел снисходительно улыбнуться в ответ на это варварское мнение, но, посмотрев на теплолюбивого спутника, – испугался. Это был не тот итальянец. Похожий на тенора, даже очень похожий, но не тот. Близнец, но не певец. И не Луиджи, с которым его знакомили. Или кажется? Да нет, не кажется!

– Вы присоединились к нам сегодня утром?

Двойник непонимающе поднял густую бровь.

– Синьор Маньяки путешествует с нами с самого начала, – безапелляционным тоном сообщила мадмуазель Дижон, – вы забыли.

Иван Андреевич не мог на нее посмотреть, а то бы увидел, что усатая улыбается.

– Холодная вода проясняет мысли, – тихо заметила мадам Ева.

Все заулыбались. Иван Андреевич был так рад тому, что она хоть таким образом обратила на него внимание, что не обиделся.

– Но мне все же кажется, что этот господин не тот, за кого он себя выдает.

Кто-то фыркнул, кто-то зевнул, всем было неловко.

Иван Андреевич решил сражаться до конца, но тут отказалось служить горло.

– Нет, я уверен. Тут был ваш брат, певец, а вы... – Речь стерлась, как об наждак.

– Но я тоже певец, – рассмеялся синьор Маньяки, уперся левой рукой в колено, принял позу. – Ария Жермона из оперы «Травиата». Ты забыл край милый свой, бросил ты Прованс родной!

Итальянцы умеют петь все, даже подсадные братья теноров, но все же любому непредвзятому уху было слышно, что поет не профессиональный артист. Иван Андреевич ждал, что кто-нибудь объявит это вслух. Но публика благодарно

внимала, салон автомобиля сделался оперной ложей. Иван Андреевич вертел возмущенной головой. Для чего они притворяются?!

Даже мотор перешел с завываний на деликатный рокот. Кроме всего прочего Ивану Андреевичу в самом выборе арии почудился неприятный намек. Кто это покинул край родной? Не про Прованс он поет, господин секретарь, а про вас! Иван Андреевич не выдержал.

– Это ужасно, – зашипел он, – чудовищно, это невоз-мо-щ-щно. – Шипение перешло в свист и уперлось в тупик кашля.

Это смешно, когда сипящий критикует поющего. Все засмеялись. Синьор Маньяки, демонстрируя хорошую репертуарную оснастку, грянул над бьющимся в судорогах соперником арию Риголетто:

– Куртизаны, исчадья порока, насмеялись над мной вы жестоко!

Иван Андреевич молча признал свое поражение. И когда вместо второго итальянского брата на следующее утро место перед его носом занял третий, тот самый Луиджи, господин секретарь протестовать не стал. Если шпионы с Апеннин желают вести себя так, это их дело. Попетляв еще один день по живописным закоулкам чарского левобережья, развлекательный автопробег достиг Тёрна.

Этот город был меньше Ильва, но древнее и темнее. В здешних местах водилась особая глина, после обработки она превращалась в темно-коричневые кирпичи. По соображениям безопасности Тёрн воздвигли на сравнительно небольшом плоском возвышении, что заставляло здания тянуться вверх и прижиматься друг к другу. Всего лишь три или четыре улицы были способны пропустить по себе легковой автомобиль, не превратив его в тромб. Ощущение общей отрешенной устремленности вверх усиливали виноградные шали, коими было задрапировано большинство зданий. Узкие вертикальные окна тускло поблескивали в вечном полумраке уличных каналов.

Население более чем на треть состояло из болгар, румын и обалканившихся немцев, что сказалось на тоне и стиле местной жизни. Бытовала в Ильвании такая поговорка: пока Ильв веселится, а Сельм торгует, Тёрн – молится.

Конечно, всякое обобщение есть искажение, в чопорном горном городке были и ростовщики и кабаки. А один раз в году Тёрн становился самым веселым, пьяным и разгульным местом во всем княжестве. Трудно было в это поверить, глядя в лицо ему сегодняшнему, похожему на вечернее кладбище.

Мадам въехала в средневековую гостиницу с мощеным внутренним двором, с галереей вдоль второго этажа, с решетчатыми лютеранскими окнами. Пыльные механические кареты, осторожно ворча, вползли в гулкий объем и замерли, уткнувшись фарами в ограду фонтана. Началось распаковывание.

Ночь Иван Андреевич провел в скучной комнате с белыми стенами, черным распятием над кроватью, узким окном и узкогорлым кувшином на подоконнике. Ужин был до крайности постным: бледная зелень и зеленоватый творог. Такая обстановка подействовала иссушающе на его воображение. Он силился, но не мог себе представить, чем кроме черно-белого сна могли быть в эту ночь заняты его спутники и прочие жители гостиницы. Оказалось, что такие ужины и такие ночи, в общем, исключение. Об этом сообщил ему в коридоре Луиджи Маньяки, который, весело напевая (не Риголетто и не Травиату), появился из ванной комнаты с мокрым полотенцем через плечо. Иван Андреевич хотел было иронически

поинтересоваться, не намекает ли тот своими завываниями, что его тоже нужно считать артистом, как это требовал вчерашний брат, но раздумал. Ирония – оружие умных рабов.

Что касается сегодняшнего дня, поведал Луиджи, то он праздничный. Приглаживая влажные волосы, он прочел короткую емкую лекцию о «Дне опрокинутых чаш». Триста с лишним лет назад к стенам славного города Тёрна подступил турецкий паша с войском и потребовал позорной сдачи. Получив отказ, удивился и дал залп из старомодных своих пушек. И послал янычар немедленно на приступ. Одно пушечное ядро попало в крепостную стену в том месте, где она прикрывала громадный винный погреб. Ядро взорвалось так удачно, что в стене образовалась брешь. Обрадованный турецкий канонир решил развить успех. На беду паши, оказался он весьма умелым метателем ядер. Из разорванной вторым попаданием тысячеведерной бочки хлынуло на головы орущих турок сладкое терновое вино. Наступление, естественно, прекратилось. Канонир еще больше расширил прореху, дегустация продолжилась. За терновым хлынуло сразу два сорта выдержанных мускатов, а потом кагор. Когда до ноздрей паши донесся винный дух, было уже поздно. Непривычное к вину янычарье перепилось совершенно. Три сотни трезвых саксонских рейтар при поддержке озлобленных грабежами руситских ополченцев изрубили в пьяную капусту всю османскую армию.

С тех пор день этот празднуется под именем «Праздника опрокинутых чаш», хотя естественнее было бы его назвать карнавалом продырявленных бочек или даже Днем турецкой артиллерии. Основное развлечение заключается в том, что по улицам бродят люди в янычарских шароварах, с приклеенными усами и голые по пояс. На них льют вино и хохочут.

– Вчера было что-то вроде сочельника, сегодня повеселимся. – И, взяв особо фальшивую ноту, итальянский дипломат убежал переодеваться османом.

Подозрительно он ласков со мною, подумал Иван Андреевич, но не задержался на этой мысли. Пошел к себе. Там облачился в лучшее свое одеяние (все-таки праздник) и прилег поверх скучной постели в ожидании того, когда за ним зайдут, чтобы увлечь в водоворот веселья. Может быть, там, в этом водовороте, удастся добыть объяснение странностей мадам. В толпе, среди криков и скрипок, он доберется решительным своим шепотом до ее уха. А может быть, не стоит, наплывала другая тема. Не стоит подступать к ней с неотвратимыми вопросами. Неужели он боится? И чего? Превратить сложную ситуацию в безнадежную? Он что, не уверен в своем влиянии на нее? Совершенно не уверен! Кто он ей – постельный зверок, наказанный за то, что сдуру цапнул за палец свою хозяйку.

Иван Андреевич находил горькое удовлетворение в этом самоуничижительном сравнении. Что делать, коли нет сил оскорбиться? Нет даже сил вести себя оскорбленно.

Впрочем, нет смысла стараться. Она не обращает внимания на то, как он себя ведет. Какова актриса! Ивану Андреевичу хотелось считать, что мадам Еве нелегко дается ее небрежность и холодность. На самом деле она мучительно борется с желанием броситься в объятия несправедливо измученного секретаря. Однако почему за ним не идут?

Раннее же утро на дворе, а в гостинице тишина. Иван Андреевич вскочил и прислушался стоя. Нет, тихо. Растерянно оглянулся на след своего тела на покрывале – с тем чувством, с которым, быть может, флейта вспоминает углубление своего футляра.

Какая чушь приходит в голову иногда. Иван Андреевич хмыкнул и выбежал в коридор.

Он постучал к Луиджи Маньяки, никто не ответил. Пробегавшая мимо служанка пискнула, что «господин ушел». Тогда он – почесав большим ногтем переносицу – отправился к начальнику полиции. И того не застал. Граф Консел – заперто! Апартаменты сэра Оскара – прыщавая аборигенка моет окно в пустой комнате.

Бросили, – мелькнула жестокая и веселая мысль. Завезли в терновые заросли и предоставили произволу судеб. Метнулся к окнам внутренней галереи – четыре автомобиля обнюхивают гранитную чашу фонтана.

Облегченно расхохотался. Пробегавшая мимо фартучная девушка, попав в облако его веселья, отрезонировала коротким серебряным смешком. Иван Андреевич дружелюбно шлепнул ее по аккуратному задку и сделался полностью уверен в себе.

Праздник в Тёрне в обратном переводе с немецкого назывался «гулкое гуляние». Особые «турецкие», сберегаемые именно для этого дня барабаны при помощи ярких, со значением расшитых перевязей вешали на себя местные богатыри и толстяки. Животы как бы удваивали силы барабанов. Если округлый звук запереть в узкий, прямоугольный по своим линиям канал улицы, он звереет и рвется вверх, сотрясая балконы, груженные визжащими от удовольствия горожанками.

Вдоль третьего этажа поверх виноградных косм висят цветочные гирлянды. Когда под балконом сталкивается пара барабанов, гирлянды заметно колышутся. Владельцы барабанов-гигантов – Ганс Пфлюге с «красным арбузом» и Мирослав Вашек с «Гибралтаром» – устраивают соревнования, кто первым сорвет собственноручным грохотом намеченную гирлянду. Но это уже ближе к полуночи, при свете вересковых костров, дающих тучи громадных искр, как бы передразнивающих небо.

Вторая важнейшая часть праздника – «простреленные бочки». Четыре парня изрядной дюжести несут на плечах носилки, посреди которых стоит двухсотлитровый бочонок особой конструкции. Носилки сопровождает человек, одетый как чиновник городского магистрата той героической поры. Стоит собраться вокруг толпе погуще, чиновник забирается под носилки, поворачивает рычаг; вылетают пробки из просверленных в бочке дырок, и во все стороны хлещут струи вина. Все хохочут и выкрикивают сорт винограда и год урожая. Это своего рода конкурс. Победитель получает приз, кажется, бутылку вина. Должность носильщика весьма почетна. Меж парнями-претендентами идет соревнование весь год – несколько туров отбора. Во время самого праздника им пить запрещается.

Иван Андреевич под первый винный ливень попал сразу за стенами гостиницы. Песочный сюртук мгновенно сделался похож на шкуру леопарда. Иван Андреевич попробовал возмутиться, сюртук обошелся ему в четыреста франков, но не нашел понимания у окружающих. Наоборот, победитель мгновенного конкурса опорожнил ему на голову свой приз. «Я культурный человек», – уговаривал себя господин секретарь, с ненавистью глядя в хохочущую рожу знатока местных вин и обычаев. Культурность, как известно, заключается в том, чтобы спокойно воспринимать противоестественное. Распялив рот в подобии счастливой улыбки, Иван Андреевич прорыдал: «Ха-ха-ха», – и от него отстали.

Черт с ним, с сюртуком, но где мадам и ее эскорт? Откуда столько народу?

Город, еще вчера напоминавший кладбище, сегодня превратился в ярмарку. Иван Андреевич бродил наугад и как попало, он знал, что оказался внутри лабиринта, но его не интересовало, где находится выход из него.

Опытным глазом завидев подозрительную бочку, он обходил ее стороной, но попадал под сладкий водопад из окна на втором этаже. Окатив его мускателем из огромных чаш (вот откуда название праздника), две не очень симпатичные девицы захлебывались собственным хохотом, запрокинув праздничные прически, а потом валились животами на подоконники, и их этим же хохотом рвало.

Иван Андреевич снял цилиндр, чтобы смахнуть с него хмельную лужицу, но обнаружил, что тот усыпан давленым крыжовником. Из экономии его окатили компотом. Но где же знакомые лица? Не бежали ли их обладатели из Тёрна на каретах, побросав автомобили для маскировки? И тут Иван Андреевич увидел пана Мусила – он сидел в углу укромного кафе под специально истребованным зонтом и пил пиво. Какой все-таки милый, независимый в своих напитках человек, подумал мокрый секретарь и не стал нарушать этого одиночества. Он успокоился, и ему сразу захотелось чего-то большего, например, приобщиться к празднику. Он высмотрел плывущую над головами бочку, подобрался вплотную и начал занимать удобную позицию, бесцеремонно навалившись на чью-то сухопарую скрипучую спину. Поймал ртом гранатового цвета струю. Тут же к нему с верещанием с разных сторон слетелись Аннетт, Жюли и Биа, девицы из столицы и из третьей машины. В одну секунду Иван Андреевич наполучал кучу поцелуев, щипков и неприличных предложений. Ртом он продолжал тянуться к слабеющему источнику и остановился, лишь когда подмятый господин издал предсмертный стон.

– Это вы?! – весело, без тени вины в голосе прыснул Иван Андреевич.

– Я, – подбирая моноклем слезинки, сказал граф Консел. Но он не рыдал, он рдел от удовольствия.

Выпитое вывернуло Ивана Андреевича наизнанку, он был за скобками праздника – и вдруг оказался в самом центре его. Увидел логику и смысл в повсеместном кишении народа. И пошел в него. Весь день провел он в приятных блужданиях. Возле северных ворот пил с подмастерьями шорного цеха, у железнодорожного вокзала обливался из кожаных бурдюков красным сухим с болгарскими козопасами, при этом пытался им объяснить, какая сволочь этот садовник Аспарух, но, кажется, не объяснил. Неподалеку от старых боен обменял свои елисейские панталоны, залитые красным вином, на синие турецкие шаровары, залитые горючими слезами какого-то закручинившегося дядьки. Примкнул к параду руситских кузнецов, стащил у одного из барабанобойцев запасную колотушку и бродил после этого, высматривая, по чему бы шарахнуть. Подкрался к тихонько и временно отдыхающему барабану и изо всех сил показал, какой он есть молодец, Иван Андреевич Пригожин. Этот остроумный жест обидел владельца инструмента до такой степени, что господин секретарь ретиво ретировался.

В море лиц попадались ему и знакомые. Особенно много было итальянских, хотел было он спросить у одного из них, что ему, лицу этому, и его братьям нужно от обожаемой им мадам, но, пока подбирал подходящие слова, стоявший перед ним итальянец превратился в толстую бессмысленную руситку.

Стоя с открытым ртом подле очередной бочки, он краем глаза заприметил другого зеваку – хорватского железнодорожника, ловившего соседнюю струю. В

течение нескольких секунд они дружески перемигивались, но скоро жизнь разлучила их, не дав перемолвиться и словечком. Сэр Оскар со своими разноцветными бесенятами кушал мороженое, рядом с их кафе было место традиционной барабанобитвы. Сэр Оскар изо всех сил помнил, что он британец, и чем громче грохотала натянутая кожа, тем невозмутимее становилась его физиономия. Быстро вокруг английского стола собралась плотная говорливая толпа. На бледных от напряжения любителей мороженого указывало несколько десятков злорадных пальцев. Пальцы эти вытягивались так далеко, словно желали вытащить вишенку из вазочки посланника. Не во врожденном хамстве местных жителей тут было дело, а в желто-бело-синей гирлянде, висевшей над головами троицы тихих сладкоежек.

Барабанные волны сотрясали ее. Еще удар, еще! Ну, вот! А-а-я! Летит! Толстый цветочный жгут лопнул и осыпал сэра Оскара и его детишек двадцатью фунтами мертвых цветов.

Дальше впечатления Ивана Андреевича сделались рваными, возникли протяженности пустого серого времени, где он функционировал как объект, не будучи ни в малой степени субъектом. Ободрал сухие виноградные волосы с безмолвной стены. Видел лицо усатой женщины в медленно восстанавливающемся зеркале воды. Что за вода? Фонтан? Пруд? Бассейн? Сначала она принесла облегчение, а потом улыбнулась улыбкой Анаконды. «Здравствуйте, мадмуазель Дижон», – пробормотал он на всякий случай и вновь забылся.

В гостиницу привел его запах бензина, сочившийся из внутреннего двора, сделавшегося стойлом автомобилей. Вечерело, началось вторжение предгорного тумана в лабиринт праздника. Биение барабанов сделалось мягче, и соответственно утихали сердца. В небесах завелись первые звезды, захотелось плакать и о многом-многом кому-нибудь поведать. Почему же она ему не встретилась?! Ведь она участвовала в празднике. Он бы почувствовал ее отсутствие.

Аккуратно держась руками за ступени, поднялся на второй этаж. Вечно торопливая горничная, летевшая сверху со стопкой белья на вытянутых руках, выдавила своим каблуком лужицу боли из мизинца четвероногого господина. Запричитала от ужаса и неожиданности. Понимая, что она ему особо обязана и не сможет отказать, Иван Андреевич схватил ее за низ фартука и проникновенно спросил:

– Где мадам?

О, она где-то здесь, в этом проклятом отеле, в этом оживленном аду. По всем лестницам стучат копыта прислуги. В разных концах и этажах пьяного муравейника раздается пение. Оно отражалось в пьяном слухе Ивана Андреевича, как в кривом акустическом зеркале, и мучило воображение призраками того, чего нет. Скорей всего мадам прячется в тех местах, где поселились Маньяки. Иван Андреевич выбрал позывные музыкального урода, говорящего по-итальянски, и, скорчившись, прислушался. Кажется, там! Бодро зашагал в выбранном направлении, но, прибыв, по его расчетам, на место, обнаружил, что не слышит итальянских стонов. «Голубая канарейка», порхавшая в волнах сдобной страсти, издохла. Где-то за спиной возникает «Не забывай Неаполь и вернись в него». Иван Андреевич колченого помчался на новый зов. «О ма-дам, ма-дам, ма-дам», – рушась в бездну и одновременно считая ступени, бормотал он. Неаполь померк, не подпустив к себе, блудливый дебил-бельканто бродил уже повсюду и блеял

где заблагорассудится. А может, все наоборот, холодея, подумал Иван Андреевич. Может быть, этот итальянец бессовестно развлекает неподвижно сидящую (или лежащую) мадам Еву (не станет же такая женщина носиться вверх-вниз по лестницам за голосистым недоноском). А он, безумно влюбленный и пьяный секретарь, каждый раз промахивается. Слух, обманщик-слух! Нельзя доверять ни слухам, ни слуху. Нельзя было доверяться тому, что не абсолютно. Надо доверяться зрению.

Если мадам Ева здесь, то в одной из комнат он ее обязательно обнаружит. Надо просто открывать все двери подряд.

Много повидал всякого молодой секретарь во время этого похода. Тайные свидания и таинственные сцены. Не только насмотрелся всякого, но и кое-чего наслушался, особенно когда открывал двери, занятые посторонними компаниями, где тоже отнюдь не в фанты играли. Пришлось и потолкаться в основном с сэром Оскаром, он тоже бродил по коридорам разврата с тяжелым сердцем и еще более тяжелыми ногами. Шатающийся юноша обязательно, даже при искреннем желании уклониться от встречи, врезался в страдающую тушу. Причем туша всякий раз тушевалась и бормотала извинения.

Британец, как и Иван Андреевич, разыскивал кого-то жизненно ему необходимого. После пятого примерно столкновения на встречных курсах представители двух самых больших в мире империй объединились и теперь вскрывали каждую дверь с двойным правом. Навстречу попался Луиджи Маньяки с емкостью мутного алкоголя. Они столкнулись, стеклянная емкость полетела на пол и лопнула. Огромная лужа жадно расползлась по ковру. Итальянец онемел, несмотря на то что до этого молчал. Иван Андреевич не стал выводить его из этого состояния и поспешил к замеченной поблизости двери. Ее он, кажется, не открывал. Мадам там!

Он открыл дверь и увидел, что комната пуста и что это именно его комната.

И силы оставили его.

Что-то мешало Ивану Андреевичу стать самим собой. Что-то близлежащее и вместе с тем невидимое. «Какая, в общем-то, в этой жизни царит теснота!» – подумал Иван Андреевич свесившейся с кровати головой. Он решил, что находящийся неподалеку пол предоставит ему больший простор для самоощущения. Щадящим образом он сгрузил себя с кровати, получив возможность расправить свои члены и овладеть ими. Настолько, что стал подниматься. Встав на ватные колени, он с медленно нарастающим удивлением обнаружил, что метал лиловые молнии неудовольствия не в кого-нибудь, а в свою возлюбленную. В медовую мадам. Оказывается, его Ева провела ночь (или по крайности утро) в одной с ним кровати. Или это снится? Да нет, – досадливо отмахнулся от этого жалкого объяснения, – ничего не снится. Она здесь, и, судя по тому, насколько погружена в сон,– давно. Полная сдобная длань покрывает лицо.

Иван Андреевич начал ощупывать себя в попытках определить, что было меж ними во время его беспамятства и было ли вообще. Турецкие штаны вместо информации несли тарабарщину, разочаровала и жилетка, грязная, липкая, немая. О, если бы на нем в эту ночь были родные панталоны! Там каждая пуговица – сказитель. Да, мы забыли сообщить важную подробность: мадам была обнажена. Иван Андреевич не отрывал взгляда от пятерки ярко-красных ногтей, выложенных на страже былинного лона. Живое воплощение спящей Венеры.

От картинной знаменитости мадам отличалась только цветом ногтей. Ногтями этими, всею кровавой десяткою, мадам порой записывала на спине секретаря свои впечатления при опробывании экзотической мебели.

– Ну что же вы? – сказала лежащая чужим спросонья голосом.

– Что?! – потрясенно вскрикнул секретарь.

– Я жду уже около трех часов. Ведь вы искали меня?

– Искал, искал! Конечно, искал! Значительно дольше трех часов. Всю ночь. С самого начала этой мучительной поездки, нет, с того дурацкого душа. Даже раньше – с французской кровати. С того момента, как продырявил этого наглеца Алекса, с той встречи в мебельном балагане! С той минуты, что я появился в Ильве. С той минуты, что я появился на свет!

Конечно, Иван Андреевич был не способен произнести эту хоть и страстную, но подозрительно стройную речь; он издал несколько рыдающих хрипов. Но не поднялся с колен.

Над ним прозвучал властный уверенный голос:

– Я давно заметила, что вы меня любите.

– Да, да, да! – И он тут же попытался объяснить, как и насколько. Речь эта была сколь длинная, столь и сбивчивая. Текли слезы непрошеные и очень медленные. Иван Андреевич заверял каждую страницу любовного бреда потными печатями, что наносились лбом на подушку, на остывшее покрывало, на подставку для ног, на прикроватный коврик.

Иван Андреевич объяснял, что влюбился сразу, только не сразу это понял, ибо, входя в рай, не обращаешь внимания на то, что ворота распахнуты. До конца дней, до последних всхлипов своего никчемного существования он будет возвращаться на простор этого бескрайнего месяца, ибо истинная жизнь его вся там. Она закончилась, прошла и поэтому неуязвима. Там вечно умирает сорванная любимыми пальцами былинка, там навсегда дрожат пружины в жадных до человеческого тела кроватях, там полупрозрачные фигуры комических дипломатов пасутся на тускло отсвечивающих паркетах, а бело-розовые облака окончательно остались в пределах застланного восторженными слезами взгляда.

«Да, я вас люблю – вы слышите, до какой степени небезмолвно, но тем не менее безнадежно!»

Лишь малая часть сказанных слов приведена здесь, малая и внятная. Страстные и бессвязные пассажи кишат по краям слепящего признания.

Светская львица не прерывала говоруна и слушала с подчеркнутым вниманием, даже сочувствием.

Нет речи, которую нельзя было бы закончить, настал момент, когда с таким трудом воздвигнутое здание словесного замка Иван Андреевич не мог уже поддерживать силою иссякающего дыхания. Сооружение начало рушиться, все смешалось – доказательства и слезы, аргументы и рыдания.

– Я весьма удивлена речью вашей, мой юный и безумный друг. Глубочайшее есть у меня подозрение, что весь месяц, коему был посвящен вдохновенный ваш рассказ, вы делили особняк на Великокняжеской не со мной, а с какою-то другой женщиной.

Впервые за все время разговора Иван Андреевич поглядел в лицо лежащей и остолбенел. А она продолжала. Тон ее был весел и почему-то угрожающ:

– Различия между мною и воображенным вами фантомом микроскопичны, но уж больно многочисленны. Не буду останавливаться на каждом. Вот несколько

вопиющих примеров, взятых наугад из вашей сумбурной речи. Письмо к швейцарскому бургомистру.

Иван Андреевич продолжал представлять собою коленопреклоненную статую.

– Вы отчего-то утверждаете, что тогда, то есть во время написания оного послания, лилась из замаскированного патефона музыка композитора с длинной русской фамильей Римский-Корсаков, однако же я отлично помню, что установила пластинку другого автора, а именно Масснэ.

«Хорошо, что не Массена», – пролетела сквозь пустую голову секретаря абсолютно праздная мысль.

– А измышления по поводу моего туалета на бале? Неужели вы думаете, что я могла явиться на дипломатический прием в тунике и пеплосе – в костюме, отдающем низкопробным балаганом? Еще эту дуру Розамунду я могу себе представить зашедшей в такие гардеробные дебри в погоне за модою, но чтобы я! А самое подозрительное – яблоко. Позвольте вам заметить, я яблок не ем. И другим не предлагаю. Мой любимый фрукт – персик. Персик, персик и только персик. Справьтесь у кого угодно, что предпочитает на десерт мадмуазель Дижон, и вам ответят – персик.

– Что вы здесь делаете, мадмуазель, и в таком виде? Что вы здесь делаете, мадмуазель Дижон?!

– Меня зовут Меропа.

– Очень неприятно.

Тень надменного неудовольствия появилась в лице мадмуазель.

– Что вы имеете в виду? Я здесь нахожусь по вашему настоятельному приглашению и в подобное состояние привела себя, следуя вашим советам.

– Да-а? – Иван Андреевич не верил ей, но знал, что мог бы такое сделать.

– Вы с первого дня поездки начали оказывать мне несомненные знаки внимания...

Иван Андреевич мстительно вцепился в щеку, которая шарила по девичьей шнуровке на альпийской лужайке.

– Если вы заметили, я спокойно, с юмором даже снесла ваше признание в том, что вы сохраняете светлые воспоминания о месяце, проведенном в объятиях моей сестры...

– Чьей сестры?

Мадмуазель криво усмехнулась.

– Сестрица меня предупреждала, что вы не вполне вменяемы, но не настолько же! Моя сестрица, моя! Европа!

Пальцы Ивана Андреевича со щек поднялись к вискам.

– Может быть, я и в самом деле слегка не в себе, но, право же, я не знаю никакой Европы, кроме Европы.

Скрипя кроватью, мадмуазель стала подбираться к Ивану Андреевичу, ведя при этом разъяснительную работу.

– Европа – полное имя моей сестры, Ева – домашнее, так ее зовут близкие люди. Я Меропа, она Европа.

– Какие созвучные имена, – сказал Иван Андреевич, отползая по прикроватному коврику.

– Между нами вообще очень много общего. Куда же вы, господин секретарь?

– Я не ваш секретарь, я служу только мадам Еве. Европе.

Крупная голая старая дева замерла на краю кровати, постепенно пропитываясь обидой. Несколько крупных бледно-розовых пятен возникло на разных частях тела, которое без помощи сознания вспомнило о стыде.

– После всего вы... – Она не договорила, резко откатилась по покрывалу и пала с кровати с противоположной стороны.

Иван Андреевич остался лежать на боку, прижавшись спиной к стене. Безуспешно пытаясь разобраться в происходящем. Он не видел страшную гостью и не знал, чем она занимается по ту сторону ложа. Может быть, вынимает мстительный кинжал. Но где сейчас мадам? Где Ева? Где Европа? Какое странное имя! Почему наглая сестрица так уверена в себе? Мадмуазель закончила туалет и, обойдя кровать, появилась над лежащим.

– Это... – растерянно начал он, но не смог продолжить.

– Да, это я, – чему вы удивляетесь? Вы видите меня в подобном наряде уже второй раз.

Мадмуазель была в черном вечернем платье, грудь ее скрывалась под фальшивым бриллиантовым панцирем, на голове – это поражало сильнее всего – высилась мощная сложная прическа. Утыканная перьями.

– Это парик? – жалобно поинтересовался секретарь.

– Это парик. Не правда ли, в таком облачении я довольно сильно похожа на свою сестру.

– Удивительно.

Мадмуазель вдруг разъярилась.

– Ничего удивительного, ведь мы близнецы, сестры-близняшки.

– Этого не может быть.

– Что же так? Уверяю вас, у нас все одинаковое: и размер бюста, и объем бедер, и цвет глаз, и походка.

Только профессии разные. Она пошла в актрисы и проститутки, а я в стенографистки и переводчицы.

– Мадам Ева прекрасна, а вы...

– А я?! – заревела Меропа.

– Отвратительны.

Мадмуазель все же не ожидала столь прямого ответа, ее передернуло, она осклабилась.

– Зачем же вы оказывали мне знаки внимания?!

– Это было недоразумение, дурацкое недоразумение. Всего один раз.

– Один раз?! А все те взгляды, намеки, пикировки?! Вами было сделано достаточно, чтобы я приняла ваши намерения достаточно всерьез. Глубокое женское сердце воспламеняется от самой ничтожной искры.

– Я люблю мадам Еву, и других женщин для меня нет. И девушек.

– Это я уже поняла. Ну, так вот что я вам скажу, ничтожество в панталонах. Ваша возлюбленная бросила вас, но не так, как женщина бросает возлюбленного, а как кухарка бросает грязную отслужившую тряпку. В помойное ведро. Она до такой степени дорожит вашей любовью, что разрешила мне попользоваться вами, если у меня будет такое желание. Со смехом разрешила, «чтоб добро не пропадало», – вот ее слова! Все равно вас потом отдадут Розамунде.

– Что значит отдадут? Это неправда.

– Не-ет, правда. Истинная правда, полная и окончательная.

– Я пойду сейчас к ней, пусть она сама это скажет.

Мадмуазель усмехнулась как можно более оскорбительно.

– Мадам Ева, надо думать, в этот момент подъезжает к Ильву. А может быть, уже беседует с князем. А за вами я сейчас пришлю господина Сусального, чтобы арестовать и препроводить в Стардвор, в распоряжение этой хромой дуры. Она требовала вашу голову – и она ее получит.

– Какую голову, я свободный человек!

– А дуэль? Вы уже забыли?

Иван Андреевич потерянно покачал головой.

– Я вам не верю.

– Это ваше право, но будет по-моему.

– Я люблю мадам Еву, я объяснюсь с ней. Тут какая-то злонамеренная путаница. То, что вы говорите, чудовищно.

Мадмуазель снова усмехнулась и молча вышла. Иван Андреевич обессиленно закрыл глаза и услышал омерзительные детские голоса:

– А-а, вот мы вас и нашли! – Это были Дюйм и Амад. – Нам сейчас уезжать.

– Зачем же вы меня искали?

– Мы же говорим, нам сейчас уезжать, и мы хотели бы получить должок.

И они, по-детски радуясь, в четыре руки начали лепить в лоб лежащему выигранные во дворе дворца щелбаны. Время от времени засовывая отбитые пальцы в рот, чтобы остудить.

Лишь появление начальника полиции спугнуло их. Господин Сусальный явился не один, за его спиной стояли двое полицейских. Крупные, мрачные, но добропорядочного образа дядьки, поросшие одинаковыми соломенными усами. По приказу начальника они взяли Ивана Андреевича за предплечья, резко подняли и повлекли вон из комнаты. Секретарь не сопротивлялся. Через черный ход его вывели к черной карете и молча впихнули внутрь. Проделав в полнейшем молчании короткое путешествие по кривым улочкам Тёрна, они вознеслись все вместе на третий этаж какого-то дома. Там в скупо обставленной, пропахшей дешевым табаком комнате уже находился начальник полиции. Он стоял у зашторенного окна немного сгорбившись, папироса в зубах, печаль в глазах.

Полицейские вышли, усадив пленника на стул.

– Вот, – господин Сусальный показал свернутый в трубочку лист бумаги с висячей печатью, – это приказ о вашем аресте.

Иван Андреевич вопросительно сглотнул слюну.

Полицейский вздохнул.

– Дуэль. В нашем государстве дуэли запрещены. Строжайше. Приказ старый, подписан в тот же самый день. Вы оставались недоступны властям, ибо проживали во дворце мадам Евы. А мадам занимает особое положение не только в Ильванском княжестве, но и во всей европейской политике. Вы, наверное, заметили?

Иван Андреевич не до конца понял, что имеется в виду, но почувствовал, что в этом месте надо кивнуть, и кивнул.

Иван Сусальный опять вздохнул.

– Я ее не люблю, а вы любите, поэтому нам трудно будет понять друг друга.

Пшеничные усы висели самым пессимистическим образом, в глазах – смертный свет неверия в свои силы и в нужность того, что он будет сейчас делать.

– Мадам Ева, требующая, чтобы ее именовали Европой, имеющая в арсенале еще не менее дюжины маскировочных имен, – известнейшая на континенте авантюристка. Она состоит или состояла в тесных, а иногда и интимных отношениях со многими знатными, богатейшими и даже коронованными особами. В известном смысле вы можете считать себя польщенным.

Иван Андреевич стал считать.

– К ее помощи прибегают для исполнения поручений самого щекотливого и тайного характера. Иногда через нее вершится даже высокая политика. Самая высокая. Много весьма любопытного и крайне отвратительного рассказывают о ее давнишних отношениях с самим Францем-Иосифом. Это сейчас все его силы уходят на ношение бакенбардов, а еще каких-нибудь тридцать лет назад он был мужчина хоть куда. Когда-то весьма давно он отбил мадам у небезызвестного графа Консела. Да, да, молодой человек. Граф тогда отнюдь не был такой развалиной, как ныне. Он подобрал юную Еву в каком-то заштатном варьете, дал артистическое образование, истратил на нее уйму денег. У нее были попутные увлечения, но всегда она возвращалась к графу. Думаю, он специально запускал ее в постели таких людей, как австрийский император, чтобы через нее влиять на дела. При этом искренне ее любя. Вот такие случаются психологические выверты в сфере большой политики. Создание переросло создателя; разорив графа, Ева скрылась под крылом Вильгельма, тогда еще наследника престола. И этого он ей простить не смог, возненавидел люто.

Иван Андреевич тупо смотрел перед собой.

– В Ильв она явилась по делу, которое вроде бы не отнесешь к самым крупным. Дальше начинается государственная тайна, поэтому слушайте особенно внимательно. Князь Петр решил заняться перевооружением нашей армии, даром что она и в перевооруженном состоянии никому не сможет сопротивляться. По традиции мы всегда покупали снаряжение у Австро-Венгрии. Всё – от пушек до пуговиц. Это сравнительно дешево, и недалеко везти. Кроме того, это была своего рода дань великому соседу. Продавец с симпатией относится к покупателю. Мадам Ева взялась хлопотать о продвижении, извините за этот британский жаргон, на наш рынок оружия французской фирмы «Шнейдер и Крез». Раньше этим занимались братья Маньяки, но немногого добились. Австрийские пушки хуже французских, но зато почти вдвое дешевле. Кроме того, обращаться к Крезу в нашем случае – значит подражать Сербии. Этого венцы никогда не простят. Вы меня понимаете?

– Думаю, что да, но не думаю, что мне это что-то дает.

– Подождите, осталось совсем немного рассказать. В течение месяца мадам Ева боролась против пана Мусила за сердце князя Петра. Позиции ее были слабы. Она настаивала, чтобы правитель Ильвании поступил строго против интересов собственной страны. Автомобильная прогулка в Тёрн была задумана специально, чтобы удалить из города всех, кто смог бы отговорить князя от подписания противоестественного контракта. Она обманула всех. И братьев Маньяки – обещала поделиться и не поделилась. И Ворона – обещала вернуть ему его долговые расписки, а сама передала их господину Паску. Я не говорю про пана Мусила – он вообще на грани самоубийства. Сейчас, – Сусальный достал часы, – мадам, вероятно, уже на приеме у князя. В разговоре один на один она его уломает. Могла бы помешать княгиня, но, судя по тому, как мне велено обращаться с вами, и Розамунду удалось уговорить.

– Спасибо за эту бездну сведений, тем более, таких секретных, но так и не возьму в разумение, почему именно я, почему именно мне все это должно быть сообщено?

Господин Сусальный посопел, потрогал край уса.

– Меня зовут Иван, казалось бы, так же, как и вас. Но нет! У вас библейское имя, а у меня местное, ильванское. Доказано убедительно господином Плакучим, всемирно известным нашим ученым, что в древности столица нашего княжества называлась не Ильв, а Ив. Пойдите на берег Чары, на то место, где вы так неразумно стрелялись, и поймете, почему: Ивовый край. Ив – вот имя столицы этого края. Иван – имя столичного жителя. Заметьте, краткость – особенность нашего языка; он самый древний из славянских, ближе всех стоит к языковым корням. Смотрите: Ильв, Тёрн, Сельм – вот названия наших городов. Только в семнадцатом веке обозначилась смягчающая латинская огласовка. Румынское влияние. Не Ив, а Ильв, не Сем, а Сельм. А знаете, почему именно Сем? Потому что семь дней. Это исконно торговый город, рынки трудятся без выходных, даже в воскресные дни. И последнее доказательство: возьмите румынские или венгерские карты.

«Где?» – вяло подумал Иван Андреевич.

– И вы увидите, что наш Тёрн обозначается там как Тьерень. Они его пытались подвергнуть смягчению, но горная твердыня устояла.

В глазах начальника полиции заблестела жизнь, какие-то исконные, хотя и присыпанные пеплом служебной тоски огонечки.

– Возвратимся к моему имени. Если я Иван, столица зовется Ив, то...

– Страна должна называться Ивания, – брякнул секретарь.

– И никак иначе, – просиял господин Сусальный, – и пусть многим, очень многим это не нравится. А теперь я расскажу, почему вы здесь.

Иван Андреевич напрягся.

– Все настолько просто, что должно быть обидно. Для вас. В общем, княгиня Розамунда потребовала вашу голову. В обмен на подпись мужа на контракте. Князь слушается жену свою во всем. Он импотент, а она немка. Это наше большое национальное горе.

– Но, – Иван Андреевич преодолел спазм, схвативший его за горло, – я вам, простите, не верю. У меня такое впечатление, что княгиня скорее расположена ко мне... зачем ей моя голова?!

– Да, к вашему несчастью, вы произвели на графиню очень благоприятное впечатление. Сильное. Зажгли в ее сердце чувство и тут же нырнули в постель мадам. Чувство редко в таких ситуациях переходит в бесчувствие. В равнодушие, понимаете?

– Она меня возненавидела?

– Да. Но ей нужна голова, только голова.

Начальник полиции встал, прошел до двери, открыл ее и осторожно выглянул. Было видно, как коридорный сквозняк фамильярничает с его усом.

– Послушайте, господин Сусальный. Иван. – Секретарь закашлялся, ему было и страшно и неловко. – Я о голове. Вы решили выполнить приказ этот?

– Да, у меня есть приказ о вашем аресте. Но я хочу, чтобы вы мне помогли. Помочь вам бежать. У вас в глазах удивление? Почему я так поступаю? Я, как вы правильно подметили, Иван, русит. Мне неприятно, что француженка и немка станут играть вашей головой. Авантюристка и калека. Не верите в возможность таких чувств в начальнике полиции?

Иван Андреевич хотел сказать, что ему все равно, благодаря каким (и чьим) чувствам он сохранит свою голову на плечах. Но начальник полиции его опередил.

– Скажу тогда, что мне выгодно ваше бегство: не получив обещанного, княгиня Розамунда разозлится и потребует расторжения контракта с Крезом. Это еще можно сделать. Князь Петр купит дешевые австрийские чушки и убережет казну от окончательного истощения. И теперь я слушаю вас. Ваше слово, господин русский путешественник.

Стоит отступить главному страху, как человек оказывается в толкотне второстепенных чувств. Многообразные и безобразные впечатления пьяных суток захохотали в углах еще несколько квадратной головы. Болел лоб – то поклоны и щелбаны. Зашевелился в сознании голый кошмар по имени Меропа. Иван Андреевич ощутил нестерпимое желание задать несколько вопросов мадам. Еве, Европе, авантюристке, подружке императоров и своей любовнице. Только таким путем можно было выйти из шизофренического лабиринта, в который он попал.

– Я должен поговорить с ней.

– Все могу позволить вам, а этого не могу.

– Тогда чего стоят все ваши слова? Может, вы просто наговорили на нее?

– Нет, не наговорил. Только она уехала, я же вам уже сказал. Ночью в Ильв на машине. А вас вот не взяла. Выдала вас Розамунде. С головой.

– Но тогда хотя бы мадмуазель...

– Нельзя!

– Она тоже уехала?

– Нет, без вас она не уедет, ей велено доставить вас в Стардвор. С одной ролью – двойника мадам этой ночью – она справилась. Она бродила по коридору в платье сестры, и все думали, что мадам на месте. А вот с вами я ее обманул. Не следовало ей отпускать вас от себя. Но в этом доме вы в безопасности. Правда, искать она вас будет яростно.

– Чтобы отомстить? Я обидел ее, – пояснил Иван Андреевич.

– Интересно, как вы смогли «обидеть» это существо?

Иван Андреевич затравленно поглядел на полицейского – стоит ли говорить? Да чего уж там.

– Она почему-то решила, что я проявляю к ней интерес как к женщине и тут же предложила мне свою любовь. Я отверг ее, и даже с содроганием.

Начальник полиции, резко выходя за рамки своего печального образа, расхохотался:

– Еще бы ей не обидеться, она обязательно должна была возыметь к вам особую злобу. Как же, с Европою он спит охотно, а с Меропою не желает, когда они близнецы.

– Да, – Иван Андреевич потер лоб, – она сказала мне об этом, но я никак не могу поверить. Она и... она – близнецы.

– Да вам кто угодно скажет. Все это знали. Знали, как стенографистка завидует актрисе. Даже переодевается тайком в ее платья, смотрится в зеркало, представляет себя сестрою. Такая возможность, как сегодня ночью, поизображать из себя мадам – для нее счастье. Но мужчин отпугивает. Вы вот тоже... Она рассчитывала попользоваться... Теперь вы понимаете, что вам нельзя показываться ей на глаза. По городу уже шныряют шпики. Ни мне, ни вам не поздоровится.

– Вы же начальник полиции? – не удержался от ехидного вопроса Иван Андреевич.

– Да, такова наша несчастная жизнь. Возможности у развратной авантюристки значительно больше в нашей стране, чем у законной власти... Я знаю, что большинство моих людей подкуплены, и доверять могу только бывшим односельчанам. Я не могу рисковать в этой партии, поэтому прошу не удивляться тем мерам безопасности, что будут к вам применены.

Иван Сусальный встал, закурил новую папиросу.

– Я сейчас отправлюсь на вокзал, чтобы подготовить наше безопасное убытие. Сначала Бухарест, там пересадка – и дальше прямиком на родину. Я забочусь о спасении вашей жизни и очень прошу не мешать мне в этом.

Иван Сусальный мрачно затянулся дешевым дымом.

– Кое-что все-таки согревает мое сердце, даже в сей мрачный день, когда я вынужден навсегда покинуть свою родину.

– Что? – вяло поинтересовался Иван Андреевич.

– Я представляю себе, как мадам Ева расправится с нерадивой мадмуазель.

– Почему?

– Меропа не сможет доставить вас в Ильв, Розамунда заставит князя опротестовать контракт, все планы мадам, а их у нее, насколько известно начальнику полиции, много, полетят в тартарары.

Некоторое время Иван Андреевич лежал на потрескавшемся кожаном диване, мрачно глядя в потолок. Но до отхода поезда было слишком много времени, лежать без движения и без надежды на будущую встречу было невыносимо.

Нет, он будет к ней писать.

Иван Андреевич потребовал перо и бумагу. Полицейские, невесело посоветовавшись, принесли и то и другое. Играть в деликатность не стали, наоборот, нависли справа и слева, присматриваясь к каждой букве сочиняемого послания. Пусть, мстительно решил Иван Андреевич, применив французский язык. Изведя листов двадцать почтовой бумаги на черновики, изготовил пронзительный текст-вопль, который, прошибая ширмы всех недоразумений, должен был довести до сознания всеевропейской интриганки (в глубине души Иван Андреевич все более сомневался в словах положительного полицейского), как она, несмотря ни на что, любима нелепым сыном костромского архитектора. А в конце в стиле кровавого всхлипа просил о встрече. Он выражал уверенность, что ему удастся «вымести сор ссоры из храма любви».

Несмотря на цветистость слога, в письме чувствовалось искреннее чувство.

Господи, почему из-за того, что французские пушки дороже австрийских, он должен навсегда расстаться с любимой женщиной?! Почему он должен верить ценителю славянских древностей, который сидит сейчас в гражданском платье на Тёрнском вокзале, готовый к совместному бегству на север? Русит спасает русича? Но не спасает ли он на самом деле при этом контракт пана Мусила с лысым князем? Несомненно дело так и обстоит. Начальник полиции не может быть тонким, душевным, бескорыстным интеллигентом. Иначе придется считать, что весь мир встал с ног на голову. В этом мире меж близнецами нет ни малейшего сходства!

Но зачем же она бежала без него? Почему не взяла его хотя бы как секретаря? Сусальный! Он, господин Сусальный, явился к ней, к порывистой вспыльчивой

красавице, и наговорил такого... в конец все еще рыдающей строки упала короткая очередь капель. Иван Андреевич запрокинул голову и стал нащупывать платок.

Нос всегда был его слабым местом. Неоднократно он орошал алой жидкостью своей страсти и ланиты, и перси, и длани, и даже чресла своей пассии. И ей это нравилось, хотя ни в одном европейском языке, кроме русского, кровь и любовь – не рифма.

Полицейские, завидев кровь, решили, что перед ними происходит случай какого-то хитрого членовредительства, а может, и самоубийства. Они ударили писаке по рукам.

С чувством своего трагического превосходства он рассмеялся. И спросил, не является ли господин Сусальный также и начальником тайной полиции.

Является, ответил усач с двумя нашивками. Это ни для кого не секрет. Руки Ивана Андреевича были отпущены, и он сквозь прижатый к носу и губам платок спросил, знают ли господа полицейские, как называется дело, в котором они участвуют.

– Похищение у Европы. Когда-то из-за путаницы вокруг названия одной русской картины я застрелил человека и обрел любовь.

Ничего не понявший капрал следил за тем, как Иван Андреевич вписывает в письмо корявый каламбур, дабы повеселить возлюбленную и сообщить о неожиданном прозрении. О Боже, как они были близки, когда друг друга абсолютно не понимали. Теперь разъяснились все детали и нюансы той священной невнятицы, а меж ними шестьдесят верст. Бог весть сколько шпионов и целая выдуманная страна.

Он заклеил конверт, а капрал ему сообщил, что письмо отправлено быть не может.

– Распоряжение господина Сусального. А теперь пожалуйте бриться.

Пока капрал удалял со щек Ивана Андреевича щетину, второй полицейский вынул из конверта две светлые волосяные пряди.

Что это?

Оказалось, усы. Их старательно и умело наклеили беглецу на верхнюю губу. Потом заставили переодеться в платье ильванского крестьянина, явившегося в город на заработки. До вокзала велено было добираться пешком. Зашторенная карета вызвала бы подозрения. К вокзалу в целях конспирации продвигались не прямым путем, а замысловато и бессмысленно петляя. Тюрьма, биржа, костел, банк, мечеть, набережная. «А там что?» – «А? А там старые бойни. Теперь там живут бродяги. В бочках. Гостиница для Диогенов. У самой воды». – «Чара ведь течет оттуда?» – «Да. Вообще-то она речка горная, да уж тут, в Тёрне, нрав успокаивается». Конечно, этот разговор произошел у Ивана Андреевича не с капралом, а со старым, классического вида букинистом, что устроил свой развал на широком шершавом парапете над плавно несущейся пеной.

Чтобы втереться в доверие к букинисту, надо у него что-нибудь купить. Иван Андреевич взялся приобретать том Моммзеновской истории, кажется, третий, сопровождая покупку похвалами в адрес Цезарева критика. Речь он вел по-немецки, но, как ок-к-казалось, на этом языке владелец берета мог лишь заикаться. Но вот какой-то Сент-Бёв! В ответ на первое же «парле» книгопродавец расцвел и сладострастно зашамкал.

Иван Андреевич тут же достал несколько банкнот.

– Я возьму это, это и это.

То есть Моммзен, Сент-Бёв. И еще зачем-то венгерско-хорватский словарь. Наверное, для маскировки. Денег он вручил старику впятеро больше, чем стоили эти духовные сокровища. Все, что шло поверх цены, предполагалось сделать платой за передачу (Иван Андреевич стал его тихонько доставать из кармана) письма в столицу. Серо-голубые не разбирались в сент-бёвском языке, но отлично смыслили в деньгах. Завидев количество нулей на бумажках, они поняли: что-то затевается. Капрал плотно взял секретаря за предплечье и увлек в сторону. Напарник капрала аккуратно нес его покупки.

Следующую попытку снестись с мадам Евой-Европой Иван Андреевич предпринял буквально через сто шагов после расставания с симпатичным книжным червем. Увидев на очередной виноградной стене почтовый ящик, он кинулся к нему и одним движением просунул письмо в щелку. Он думал, что поставил своих форменных спутников в трудное положение, но, оказалось, даже не вывел их из себя. Напарник отдал капралу стопку купленных книг и, подойдя к желтому жестяному хранилищу сердечных и деловых тайн, решительно в него вцепился. Напрягся. Задрожали бакенбарды, заскрипели выдираемые болты. Через несколько секунд шествие к вокзалу продолжилось. По левую руку от Ивана Андреевича несли изданные тексты, по правую – неизданные.

Секретарь шел, опустив руки. С видом человека проигравшего и полностью признающего поражение. И когда полицейские начали успокаиваться, он бросился бежать.

Вбежав на территорию боен, Иван Андреевич сделался вдруг спокоен. Он петлял меж вонючих бочечных пирамид без всякой цели, но и не думал впадать в панику.

Он неуловим, какие могут быть сомнения! Нецензурно причитая, бродили по деревянному бардаку потные полицейские. Их мучила одышка, их мучила вонь, а паче всего – мысль о том, что до отхода поезда остается не более получаса, что быстро темнеет, что по перрону городского вокзала нервно расхаживает господин Сусальный, засунув руки с пистолетами в карманы длинного бежевого плаща.

Видимо, страдания их были столь искренни, что им дана была возможность исправиться. Беззаботно путавший следы беглец оказался в одном из тупиков. Из него было два выхода. Игривое провидение, разделившее догоняющих где-то на маршруте, заткнуло их вооруженными фигурами оба.

Для Ивана Андреевича физический тупик совпал с жизненным. Чтобы подтвердить это, капрал взвел курок, то же сделал напарник его, пытаясь удержать под мышкою мокрый от пота ящик.

Вместо того чтобы сдаться, безумный беглец развернулся, бросился на ветхую гору бочек у себя за спиной и довольно живо стал карабкаться вверх.

– Уйдет, – сказал напарник.

Капрал понял это раньше и теперь размышлял над тем, позволено ли ему применять оружие, упоминалось ли об этом во время инструктажа.

Напарник бросился вслед за Иваном Андреевичем. Капрал поглядел на него без надежды, потому что преследователь так и не выпустил из рук желтого ящика.

Иван Андреевич был уже на вершине. Капрал, сплюнув в адрес судьбы-индейки, прицелился.

– Не стреляй! – крикнуло сразу с десяток голосов. Полицейский невольно скосил взгляд. Множество испуганно горящих глаз глядело на него из разных углов.

– Не стреляй!

Не слушать же было доверенному лицу начальника полиции всякую шваль! Он выстрелил, целясь, как ему казалось, в ногу тяжело дышащего на вершине человека. Бочечные пирамиды рухнули, как альпийские лавины, только грохот у них был своеобычный, перебористый, гулкий. Бочки катились со всех сторон, давя людей и их бесполезные вопли.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Появление полицейского чина в русском романе почти всегда связано с переменой погоды в худшую сторону. Так что нет ничего удивительного в том, что когда дрожки судебного следователя Антона Николаевича Бобровникова въехали в ворота столешинской усадьбы, небо начало хмуриться. И липовая аллея перед парадным, яблоневая толпа в тылу дома затрепетали. Когда же Антон Николаевич, еще довольно молодой человек, пусть и женатый, но интересующийся идеями и веяниями, сел к столу, хлынул ливень. Помимо следователя кушали чай Корженевские, генерал, Афанасий Иванович и отец Варсонофий, человек степенный, молчаливый, кажется, неглупый, с припухшими веками и тяжелым выразительным дыханием.

Подавала Настя, безропотно взявшая на себя все хлопоты по дому. Марья Андреевна слегла, и ей требовался почти такой же уход, как Тихону Петровичу. Срочно затребованные из деревни девчонки были еще вполне бестолковы, буфетный человек из уездного ресторана должен был прибыть только завтра.

За столом царило неопределенно-сложное настроение. Генерал и профессор были мрачны, каждый в своем роде; отец Варсонофий, как о нем уже сообщалось выше, предпочитал помалкивать. Поддерживали беседу господин следователь и Зоя Вечеславовна. Зоя Вечеславовна задавала вопросы, Антон Николаевич, слегка краснея каждый раз и промакивая салфеткой губы перед первым словом, отвечал. Он был осведомлен, с кем имеет честь сидеть за столом, и горел желанием послушать столичную знаменитость и смущался тем, что вынужден говорить сам при такой аудитории. Впрочем, речь шла о предметах, касающихся его профессии, это облегчало его положение. Он даже отчасти блистал, был доволен собою и жизнью. И даже смертью, что дозволила ему оказаться в таком обществе.

– Ну, это теперь понятно, но что же послужило причиной этой дикой выходки? – спрашивала Зоя Вечеславовна.

– Ревность.

– Ревность?

– Да-с, и я удивлен, что вы этому удивляетесь. Разве не известны нам – хотя бы из классической литературы – примеры, когда это чувство служило причиной пролития рек крови. И «Отелло», и «Кармен».

Далее следовал рассказ о допросе, снятом с «убивца». При этом слове Афанасий Иванович криво вздохнул. Оказалось, Калистрат давно уж не доверял жене, жуткие английские ножницы появились не вдруг и не случайно, а задуманы были специально и издалека. Сначала, еще прежде ревности, появилась обида. Груша была в горничных у барыни, то есть приближена. «Ходила чисто», как говорится. А сам Калистрат только что звался буфетчик, а сам больше дрова колол да за лошадьми ходил. Чувствовал, что жене не ровня.

Нервные губы следователя воспитанно отхлебнули чаю.

– Отсюда мысль: а не отдали ли ему Грушу в жены, чтобы грех какой-то прикрыть? Баре-то сплошь и рядом со своими дворовыми любовницами так поступают.

– Но это вы хватили, господин Пинкертон, чьи тут могут быть грехи? Тихона Петровича? – неприязненно хмыкнул Афанасий Иванович.

– А я и не говорю, что был грех. Боже меня упаси от такой невежливости. Таков был ход мысли убийцы. Так вот, стал он следить за супругою и пришел к выводу, что у нее есть любовник. Полгода выслеживал – поймать не мог.

– Проще было согласиться, что такового нет, – заметила Зоя Вечеславовна.

– А у него, наоборот, копилась ярость. Ревность такая штука, что если уж заведется, то может питаться чистым воздухом, реальная пища ей и не нужна подчас.

Генерал поднял глаза на говорливого гостя и углубился задумчивыми пальцами в бакенбард.

– Ревность – грех, – ни к кому, собственно, не обращаясь, сказал отец Варсонофий.

– Согласен! – бодро крикнул Антон Николаевич. – Но вы же спрашивали меня не вообще, а о конкретном Калистрате. Так вот, он пришел к выводу, что раз преступники не ловятся, значит, они невероятно хитры. Его озарило – так он выразился.

– Не мужицкое словцо, – шепнул профессор жене, но следователь услышал.

– Согласен, согласен, и весьма. Сам удивился. Так вот, «озарило» его, что встречаются они посредством звонка, коим пользуется барыня. Любовник – а на эту роль претендент был один: дворовый молодой парень Авдей Толоконин, – прокравшись, дергает за укромно висящий шнур. Звонок звонит, жена идет на свидание – а дурак муж спокоен, считая, что она у барыни.

– Неплохо придумано для дворового парня, – заметил генерал.

– Да, да, – следователь еще раз промочил чаем горло, – только теперь уж нельзя проверить, так ли оно было на самом деле. Подозреваемые мертвы. Калистрат же утверждает, что, дождавшись той ночью звонка, он оделся, достал ножницы. Сомневался некоторое время, но когда услышал второй звонок и голос барыни, понял, что прав в своих подозрениях. Вылез в окно и затаился неподалеку от дверей в конуру Авдея. Глядь-поглядь, а жена его любимая по стеночке, по стеночке крадется к этой двери. Какие тут еще нужны доказательства? Ждать, когда он ей начнет юбку, прошу за выражение, задирать?

– Что касается меня, – подал голос Афанасий Иванович, – до последнего оставался бы при спасительном сомнении.

– Для кого «спасительном»? – поинтересовался генерал и повернулся к Насте. – Хорошо бы мадерцы, что ли, бутылку, а?

После этого снова дяде Фане:

– Спасительно это сомнение для виновницы, а представьте себе, насколько оно мучительно для обманутого мужа!

– Да, – решила переменить тему Зоя Вечеславовна, – история нелепейшая. И заметьте, каковы мы все в этой ситуации. Ждали-ждали крови Афанасия Ивановича, часы крали, а получилось вон что.

– Чьей крови? – сделал профессиональную стойку господин Бобровников.

– Эта кровь вас не касается, – неожиданно резко заметила Зоя Вечеславовна.

Разговор поперхнулся. Чувствуя в себе ответственность за его поддержание, хотя бы в сугубо светской форме, Антон Николаевич ухватился взглядом за пачку газет, торчавших из кармана генеральского пиджака.

– А что вы скажете, господа, по поводу ультиматума?

Профессор, батюшка и Афанасий Иванович поглядели на следователя вопросительно: что, мол, за ультиматум?

– Я еще не просматривал сегодняшние газеты, – сказал Евгений Сергеевич.

Генерал достал из кармана пачку газетных листов и бросил на стол – угощайтесь!

– Это оскорбительный ультиматум, унижающий достоинство сербского народа. Думаю, прав обозреватель «Русского слова»: ультиматум этот выработан Австро-Венгрией с полного ведома германцев.

– Вероятно, так оно и есть, но интересует – например меня – другое.

– Что же именно, господин Бобровников?

– Действия Сербии.

– Хотите, я опишу вам эти действия, – вступила в разговор Зоя Вечеславовна. Улыбаясь вступила.

– Извольте, мадам, – поклонился своей чашке следователь.

– Сербия ультиматум примет.

– Этого никак не может быть, – угрюмо заметил генерал.

– Примет, за исключением тринадцатого пункта. Допустив австрийских чиновников к следствию на своей территории, она тем самым теряет свой суверенитет. Сербия откажется от этого пункта. Но самое интересное не в этом. – Зоя Вечеславовна загадочно затянулась. Она не стала ждать, пока кто-нибудь из заинтригованных мужчин спросит: «А в чем?» – Австрию ничуть не удовлетворит это ползание на брюхе, буквально через несколько дней она объявит войну Сербскому королевству. Я убеждена, что уже в завтрашних газетах будет объявлено о мобилизации в Дунайской империи. Не удивлюсь я также, ежели выяснится, что и у нас началось нечто подобное.

– Вы известная провидица, – не скрывая насмешки, сказал генерал, – во всех почти газетах сообщено заявление господина Сазонова о том, что в случае уничтожения Австрией Сербии Россия непременно станет воевать. Такие заявления нельзя делать, не открыв подготовительных мероприятий для всеобщей мобилизации. Говорю вам это как профессиональный военный.

– Бывший профессиональный военный, – не удержалась Зоя Вечеславовна.

Василий Васильевич не нашелся сразу, что ответить, и разговором овладел Афанасий Иванович.

– А я у вас вот что хотел спросить, э...

– Антон Николаевич.

– Да? Извините. С Калистратом все ясно, как я понял. Каторга ему полагается, как он и полагал.

– Вероятнее всего.

– Но, знаете, у нас есть еще один умник.

– То есть?

– Некто Фрол, Фрол Бажов. Здоровенный такой. Плотник. Говорит, что не убивец, но убить, знаете ли, обещает.

– Кого?

– Меня, естественно. – На лице говорившего появилась страдальческая улыбка.

– Я вам рассказывал, Антон Николаевич, – прогудел батюшка.

– Ах да. – Следователь озабоченно покивал.

– И что? – потянулся к нему всем существом Афанасий Иванович. – В свете случившихся событий такие обещания особенно пугают.

– Сказать честно, я, как и отец Варсонофий, придерживаюсь того мнения, что это какое-то психическое отклонение. Тут дело врача, а не полиции. Фрол этот, как мне донесли, поведения трезвого человек, уравновешенного.

– Мне, знаете ли, все равно, какая репутация у моего будущего убийцы.

– Дя-дя Фаня, – тихо-укоризненно сказала Настя.

– При чем здесь «дядя Фаня», – сказал злобно Афанасий Иванович, – надо говорить об этом «убивце»!

– Вы же все часы в доме переколошматили, неужели не успокоились? – усмехнулся профессор.

Все засмеялись. Даже Настя, даже отец Варсонофий. Особенно сочно – генерал. Ему было приятно, что не он один находится в тяжелом положении. Только Зоя Вечеславовна не поддержала всеобщего веселья.

– Надобно вам всем заметить, что смеетесь вы зря.

– Зря?

– Да, господин генерал заштатный.

– Зоя, Зоя! – Евгений Сергеевич положил руку жене на плечо.

– Фрол Бажов действительно зарежет Афанасия Ивановича в «розовой гостиной» этого дома.

– Может быть, и когда именно это случится, скажете? – неудержимо бледнея, спросил дядя Фаня.

– Скажу.

Все заинтересованно смолкли.

– Почти ровно через четыре года. В июне, кажется.

Афанасий Иванович встал, застегнул сюртук.

– Могли бы и поточнее. Как-никак мы родственники. Должны помогать друг другу.

– Ей-богу, точнее не могу, – совершенно серьезно, почти извиняющимся тоном сказала Зоя Вечеславовна, отдалив ото рта папиросу. – Точная дата мне не будет сообщена.

Дядя Фаня вышел из-за стола, спустился по ступенькам веранды на мокрый гравий под дождь.

– Чего это он? – прошептал кто-то.

Словно в ответ на этот вопрос Афанасий Иванович подскочил на месте, выкаблучил какое-то тяжеловесное па, скорчил веранде рожу и прокричал:

– А часики-то тю-тю!

И удалился, разговаривая сам с собою. Генерал попытался разрядить создавшуюся мрачную неловкость:

– Браво, Зоя Вечеславовна. Вы можете не только судьбу Сербии предсказывать. Судя по поведению нашего милейшего кузена, ваши предсказания очень влиятельны. Торжественно посему объявляю: верю любому вашему слову касаемо будущего. Когда, вы говорите, начнется всеевропейская война?

Зоя Вечеславовна спокойно, без тени кокетства, апломба и прочих психологических мерзостей сказала:

– Двадцать восьмого, кажется, числа Австрия объявит войну сербам. Первого августа Германия – России, третьего – Россия Германии. Сначала война будет для России успешна, мы займем часть Восточной Пруссии. Потом кайзер перебросит часть войск из Франции.

– Так Франция тоже будет воевать? – как можно более игриво поинтересовался генерал.

– И Франция и Англия.

– И когда же эта война закончится?

– Через несколько лет. В восемнадцатом году.

– А кто победит?

– Франция и Англия победят Германию.

– А мы?

– А Германия нас.

Василий Васильевич откровенно засмеялся.

– Но это же нелепость! Мы союзники с Францией и Британией. Если они победят, значит и мы тоже. Элементарная логика так диктует.

– История редко подчиняется законам элементарной логики, – вступился за жену профессор.

Побарабанив удивленно по стопке газет – никак не мог понять, почему никто вместе с ним не смеется над этой курящей дурой, – Василий Васильевич попытался налить себе чаю.

– Мадера, – тихо подсказала Настя.

– Ах да. Кто-нибудь еще желает, господа? Вы, отец? Отлично.

Проглотив стакан темно-янтарного напитка и разметав привычным движением бакенбарды по щекам, генерал понял, что ему одному придется атаковать демагогический бастион, воздвигнутый этой самодовольной бабенкой. Поскольку лобовая атака не удалась, придется зайти с фланга.

– Ну, хорошо, дражайшая Зоя Вечеславовна.

– Разве я дрожу?

– Что? Ах да, я забыл, вы же словесный тоже человек. Но не это сейчас в центре. Так, в европейской войне мы разобрались, ладно. Я, видя всю вашу проницательность, обращусь с корыстной просьбой.

– Я жду.

– Хотелось бы, пользуясь обществом такого оракула, спросить о своей судьбе. Личной.

Зоя Вечеславовна извиняющимся образом вздохнула.

– Что так, дража... дорогая?

– И «дорогая» не говорите, так богатые волжские купцы обращаются к содержанкам.

Василий Васильевич прижал руки к груди:

– Каюсь.

– Про ваше личное будущее ничего сказать не могу.

– Почему? Я вам почти такой же родственник, как Афанасий Иванович.

– Дело в том, что ваше будущее никак не связано со Столешиным.

Генерал понимающе усмехнулся. Он как бы хотел сказать: «Вот, значит, для чего был разыгран весь этот спектакль с предсказаниями: чтобы лишний раз уколоть соперника в погоне за наследством».

– А ваше? А ваше будущее будет связано?

– Нет. – Зоя Вечеславовна равнодушно покачала головой. – Мы с Евгением Сергеевичем будем жить за границей после войны.

– Господа, господа, господин генерал, – опять вмешался судебный следователь, – я в ваших словах слышу нечто вроде иронии в адрес Зои Вечеславовны.

Антон Николаевич был уверен, что генерал безжалостно издевается над самоуверенной и не вполне нормальной дамой. Почему же никто не считает своим долгом вступиться за нее?!

– Не знаю, кто там кого победит, но что касается войны... Посмотрели бы вы, что происходит на станции у нас. Все словно с ума посходили. Можно сказать, что мобилизация уже в известном смысле идет.

– Да, второй день там в буфете бедокурит Аркадий Васильевич. Уймут, а он опять. То плачет, то пьет.

Генерал поморщился.

– Надо за ним послать кого-то.

– Саша ездил за ним, но он его не слушает. Драться полез, зуб выбил, – сообщила Настя.

Василий Васильевич повернулся к следователю.

– Это уже по вашей части. Некому, что ли, его связать, запереть?!

– Помилуйте, – улыбнулся Антон Николаевич, – как можно господина Столешина связать. Хоть и студента. Но, с другой стороны, если вы хотите...

– Хочу, хочу и очень хочу!

Окончание следует